



МКРТИЧ
АРМЕН

РОДНИК
ЭГНАР

МКРТИЧ
АРМЕН

РОДНИК
ЭГНАР

ПЕРЕВОД С АРМЯНСКОГО
НЕЛЛИ ХАЧАТУРЯН

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТАКАН ГРОХ» ЕРЕВАН • 1984

ББК 84Ар7
А 834

Предисловие
А. ПИСТУНОВОЙ

Послесловие
Н. ХАЧАТУРЯН

Армен, М.

А 834 Родник Эгнар: Повесть / Пер. с арм. и послесл. Н. Хачатурян; Предисл. А. Пистуновой. — Ер.: Совет. грох, 1984. — 136 с.

Повесть Мкртича Армена «Родник Эгнар» прочно вошла в золотой фонд армянской советской литературы. История трагической любви юноши и замужней женщины, ставших жертвой косных обычаев и национальной розни, развертывается на воссозданном почти с документальной точностью фоне старого восточного города и переходит в размышления о любви, о смысле жизни, о дружбе, о высокой силе человеческого мастерства. Глубина философских раздумий и нравственных уроков делают повесть интересной для любого читателя.

Предыдущее издание повести выпущено в свет в 1979 г. издательством «Советакан грох».

А 4702080200 (1104) 259.83
705 (01) 83

ББК 84Ар7
Ар2

© Послесловие, оформление.
Издательство «Советакан грох», 1984.

ПИР МКРТИЧА АРМЕНА

Прочитав последнюю страницу «Родника Эгнар», я подумала: закономерно, что никогда не увижу автора этой книги, ведь все мои любимые творцы умерли... А друзья говорили, что еще совсем недавно он ходил по улицам Еревана, плотный лысый человек с нелегким характером, иногда смешной, иногда трагически печальный, суетливый и величественный, испытывавший долгое и тяжелое горе неволи, слишком рано — совсем молодым — написавший свою главную книгу, после которой ему словно бы нечего было делать на земле.

Я не встречала мастера Армена, хотя при его жизни многожды приезжала в Армению, затем, чтобы прикоснуться к тому, о чем «Родник Эгнар» повествует так пронзительно, затем, чтобы увидеть — в качестве немыслимого исключения — одного из великих творцов — Мартироса Сарьяна.

«Родник» посвящен Аветику Исаакяну, этим же дивным именем назван в книге один из его героев, хранящий память о друзьях одинокий строитель мостов Аветик. Слово «Мартирос» нет в повести, где столько прекрасных имен, принадлежащих святым армянской культуры. (В том числе и собственное имя Армена — Мкртич — он отдал его главному действующему лицу, суровому мастеру, стремившемуся оспорить любовь искусством). Здесь Аветик, Каро, Геворк, Варос, Баграт, Агаси... А произнесенное «Мартирос» словно растворено в синем воздухе Армении, в пейзаже родины, который дан в повести сарьяновски нежно и остро, легендарным и реальным цветным словом, не забывшим ни одной горной травинки, ни одного дикого цветка, ни единого звука ущелий, полей, тропинок, падающих струй и капель воды, двигающихся силуэтов горных холмов, звуков рассвета и заката, запахов плодов и овощей, тяжести листвы и колосьев. Вот отчего, наверное, чтение «Родника Эгнар» было для меня словно бы воспоминанием сарьяновской живописи, и сцена ухода из жизни мастера Мкртича показалась композиционно схожей с фронтальной статикой знаменитого тройственного автопортрета, где старый человек словно бы принимает себя молодого и себя, вступившего в зрелость, размышляя о сделанном и прожитом. Но, быть может, дело и не в Сарьяне, подлинное искусство всегда нам кажется нашим собственным воспоминанием, нашим собственным восприятием мира — просто творец как-то таинственно узнал мое, глубокое, спрятанное, даже мне самой еще неизвестное, и теперь он говорит всем, а я горжусь, что знала это до него...

«Родник Эгнар» — книга, имеющая множество фабул при апокрифически кратком сюжете. Легенда старого Гюмри об Эгнар, неверной жене, над чьей могилой бил родник, из которого никто, кроме мужа, не сумел напиться — только канва, по которой филигранное перо Армена дивно выткало узоры глубоких нравственных размышлений, картины отошедшей в небытие жизни, абрисы прекрасных несчастливцев. На этой канве создан словно бы монохромный и строгий армянский ковер, где охра, черное и белое соединились в причудливую карту судеб тех, кто не сумел осилить судьбы.

Я еще вернусь к канве, к сюжету, который многозначно существует в книге Армена, но сначала хочу вспомнить узоры его будто попутных размышлений. На пороге смерти мастер Мкртич думает о том, сколько успел сделать. Когда-то он поставил перед собою задачу, казавшуюся в молодости грандиозной: построить сорок родников. Он не знал тогда, что творческая, рабочая задача была мерой его жизни, которая иссякнет, прекратится, как только будет завершено земное дело. «И он продолжал строить, как и прежде, и все жалел только, что в молодые свои годы поставил целью жизни сорок родников, а не семьдесят семь или сто. Теперь-то он твердо знал, что задумай тогда хоть втрое большее число — все равно выполнил бы свой обет»... «Он начал умирать сразу же, едва кончил сороковой родник. Чуть только работа была полностью завершена, мастер вдруг почувствовал, что холодеет кровь в жилах, что там, внутри, что-то сломалось... жизненный стержень, наверно».

Это начало книги Армена, и, прочитав его, я остановилась и стала думать о самом писателе и гигантских задачах, которые ставил перед собой он в те жаркие тридцатые годы, когда Ереван строился по проектам великого Таманяна, когда вернулся на родину гениальный скиталец Исаакян, когда в гости к Сарьяну приехали друзья его юности Павел Кузнецов и Александр Шевченко, и втроем они ходили по лесам Оперного театра, и стремительный черный уголь каждого оставлял на холстах сумасшедшее переплетение линий природы и урбанистики, бешеный стук молота, обжигающую надежду человека на то, что только лишь мера творческого усилия определит и устроит жизнь.

В каком доме, в каком квартале маленького глинобитного Еревана писал Армен богоборческие первые строки «Родника Эгнар»? Каков он был тогда, этот младший из друзей Чаренца, этот жизнелюбец, который, даже описывая уход своего мастера Мкртича, не верил, что и ему самому придется когда-нибудь «сесть на верблюда Смерти и влиться в караван вечности»? Он пишет сцену прощания с жизнью как одну из множества сцен продолжающейся жизни — просто этому эпизоду свойственны величие, тайна и тишина, которыми любитесь оптимизм Армена. Однако в этой сцене читатель ощущает провидческое свойство таланта писателя, то, без чего не может обойтись подлинное искусство. В веселом Ереване, где пьет вино и читает стихи Чаренц, юноша Мкртич Армен пишет так: «Сердце человеческое — оно как дом. Говорят мне: «Рухнет сейчас твой дом». Говорят мне, чтобы детей поскорее выводил... Заглянул я внутрь, вижу: полон мой дом. Это слова мои, которые не успел я наружу вывести... Времени-то у меня в обрез. Вот я и вынес самого любимого сына...» Ах, старый строитель родников Мкртич и тезка его молодой писатель, зачем вы вынесли любимого сына так рано? Знали же вы оба эту необратимую связь искусства и жизни, где завершением дела кончается земная воля... Но юноша-писатель думал, вероятно, что защитой ему станет слово: «Помешать роднику течь — великий грех, кто же этого не знает?» — сказал он в своей книге.

* * *

Место действия повести Армена — Ленинанкан, прозванный «армянской Сибирью» и давший стране Наири множество больших талантов. Всегда необъяснимы причины «урожая дарований», являющегося, скажем, в орловско-тульских местах дореволюционной России, или на Смоленщине нашего времени, во Флоренции эпохи Ренессанса или вот здесь, в городе, который в дни исаакянского детства, как и в «Роднике Эгнар», звался Гюмри. Но есть все же одно, скорее всего, иррациональное объяснение: температура чувств в этих плодородных на таланты местах, высота и подлинность страстей, эмоциональная культура. Такому иррациональному объяснению служит повесть о любви, обитавшей в старинных кварталах Гюмри. Место действия столь же важно и определено в этой повести, как в «Евгении Онегине» или «Ромео и Джульетте». Попробуй, перенеси, допустим, под Саратов, встречи Татьяны и Евгения — ведь не найдешь там медленного мерцания прозрачной утренней зари севера, когда бедная Татьяна кончает свое письмо-признание, не найдешь и серого короткого дня волглой зимы, когда погиб на дуэли Ленский — свою будущую дуэль на Черной речке пророчески описал здесь Пушкин. Попробуй, перенеси, скажем в огромный Рим близко стоящие палаццо Монтеки и Капулетти — ведь теснота улиц означает у Шекспира и особую глухую тесноту вражды старинных родов Вероны. Место действия классических произведений всегда вот так конкретно, всегда вот так легендарно, как арменовский Дзори Богаз, квартал Гюмри, где встретили горькую и прекрасную любовь жена Мкртича Эгнар и юноша Варос. Однако было бы неверно считать местом действия повести только армянский квартал Дзори Богаз, даже присовокупив к нему квартал турецкий, где, надев мусульманские одежды и сняв заброшенный дом с дурною славой, сокрылись счастливо-несчастливые любовники... Место действия в повести Армена сама природа «армянской Сибири». Сосредоточенная и безмятежная река Ахурян, подобно жизни, струящая свои воды по заветной Ширакской долине. Холмистая гряда, расколота надвое, где бродит Варос после смерти Эгнар, не смея показаться людям. Блики и стрелы сарьяновского солнца на рассвете первого после смерти мастера Мкртича утра: «...вдруг, пронзив эту разлитую над миром темноту, солнечный луч упал на оранжево-красного петуха, стоявшего на плоской кровле. Петух вспыхнул неистовым, ослепительным пламенем. Когда, согретый теплыми лучами, он бодро отправился на поиски зерна, показалось, что солнце снова закатилось, и улица опять окунулась в густую тьму. Но петух появился на соседней кровле — еще ярче, потом на третьей, на четвертой... Слово снопа огня, мелькал он на кровлях Дзори Богаза и зажигал его солнечным пламенем».

Мир природы в «Роднике Эгнар» дан в бесконечном отдалении и абсолютном приближении. Это пространство вдруг простирает себя к человеку, сливается с его существом, с его душой, с его чувством, не переставая быть в то же время эпическим пространством эпической Армении. Однажды, прерывая свое столь необходимое пластике и действию повести описание родной природы, Армен замечает: «И чудится, будто эта голубая таинственная мгла — не пространство, а время, будто там высится сама история и смотрит на нас сквозь туман веков. Такой горной страны нет больше нигде, и кажется, что это — картина, нарисованная давным-давно на древнем пергаменте». Открытая патетика этих слов, пожалуй, не встретится больше читателю повести Мкртича Армена. Здесь нет — будто бы вовсе — того трагически острого признания в любви к Родине, которое пришло в течение последнего десятилетия в лучшую армянскую литературу.

Армен словно бы забывает в своем «Роднике» и о другой остротрагической теме, которой мог бы — нет сомнения — коснуться сюжет его повести: теме геноцида. А ведь действие «Родника Эгнар» происходит в начале века, после не таких космических, как в 1915 году, но, однако, несколько не менее кровавых и драматических событий 1894 — 1896 гг. Кроме того, оно, это действие простирается в турецкий квартал Гюмри, захватывая частью и центральные русские «чиновничье-офицерские» улицы города. И все же, задумываясь о позициях Армена, понимаешь, что он сказал и об этом тяжком горе в своей любовной повести. Но сказал, точно выдержав заданную стилистику, нигде не погрешив против тональности. Ведь именно в слепой ненависти «к чужому» — исток мутной и шквальной реки позора, которая погубит Эгнар и ее возлюбленного. Эгнар зовется в турецком квартале Хабибой, здесь не знают, что она армянка. Зато в Варосе признали армянина, и не кто иной, как мулла сообщает эту новость в кофейне Ибрагима: «Любовник Хабибы — армянин»... Через много лет сюжет Армена снова вернет нас в те, ныне уже ленинканские, места старого Гюмри — сюда придет в эпилоге искать могилу Эгнар ее сын Галуст. Армен начинает свой эпилог-реквием так: «На склоне холма, там, где раньше стоял турецкий квартал, теперь не было ничего. Хотя внизу, как и прежде, расстились огороды, за ними — город, а на горизонте по-прежнему виднелся подернутый голубоватой дымкой Арагац, хотя все вокруг казалось незыблемым, поставленным на века, — турецкий квартал исчез, как будто его и не было».

Читая этот эпилог, невольно переносишься мыслью в другие края, в другие города, в другие — когда-то армянские — кварталы... Это им всем, погубленным ненавистью созданиям великой цивилизации, возлагает Армен смертный венок гюмрийских трав и цветов. Цветы и травы говорят здесь человеческими голосами, не растения — толпа ушедших в иной мир людей: бессмертник и анис, терновник и ядовитая белена, дурья трава и жеруха, «змеиный цветок» и лопухи-гиганты по прозвищу «бесова плюха» — «пощечина сатаны», целебный подорожник и туманное облачко мыльнянки, подобные кровавой ране горные маки, лютики-золотоцвет, легкие вьюнки...

Какие географические точки Евразии видел перед собою Армен в том далеком жарком Ереване блаженной середины тридцатых годов? Чьи голоса и рыдания витали в доме, где он шептал выбежавшие из-под пера матовые нежные слова своего реквиема? Эту повесть он, верно, читал друзьям с еще не просохшего листа рукописи — тогда ведь писали фиолетовыми, отливающимися золотом чернилами, которые сохли долго, как слеза на щеке... «Любимому Мастеру Аветику Исаакяну» посвятил он свою книгу, и, наверное, варпету одному из первых читал ее вслух, застенчиво бормоча, как всегда бормочут поэты. А быть может, его слушали Чаренц, Сарьян, Таманян? Здесь, в Армении, так тесно и тепло в кругу творцов...

Об этом тепле — редчайшем тепле мужской дружбы — прекрасно пишет Мкртич Армен в «Роднике Эгнар». Говорят: человек обижает другого, как его самого обижали, человек любит, как его любили. Можно к этому добавить — человек понимает дружбу, если у него есть истинные друзья. Богатой, счастливой редчайшим счастьем дружбы была, по-видимому, жизнь Армена, если смог так сильно и высоко сказать об этом. «Мкртич, мы все как братья тебе...», — слышит мастер перед смертью от ремесленников Гюмри. И он знает — то истина. Сцена поминок над светлым Ахуряном, когда каждый друг Мкртича произносит тост в честь ушедшего, проникнута удивительной верой в человеческую верность, ни единая доля цинизма или скепсиса не оттеняет этой веры. Армен написал солнечный полдень Дружбы, пронесенной через жизнь и вошедшей в вечность. Значит, ничто на свете не предвещало крушения этой веры в те жаркие, в те баснословные тридцатые годы...

Классическое произведение — помимо главных, давно описанных наукой качеств — всегда имеет еще одно, кажется, до сих пор не сформулированное: мы ищем прототипы его героев, мы пытаемся узнать, не с самим ли автором было то великое, о чем он написал так прекрасно. Если классическая литература еще не удалилась за горизонт, если она и ее герои, в отличие от греков Гомера или русских «Слова о полку Игореве», еще не успели слиться в вечном соитии с самой историей и стать ее почти осязаемой плотью, то мы, не теряя надежды, ищем барьер реальности, который перешагнул автор на пути вымысла. Ищем, ищем и очень редко находим. Заметьте: дурные книги не вызывают в нас желанья установить прототип, совместить жизнь автора с жизнью его персонажей.

Читая «Родник Эгнар», я думала: кого же так любил Мкртич Армен, когда был в возрасте своего героя Вароса? Быть может, его истинная Эгнар еще жива? Любимые поэтов отчего-то живут дольше самих поэтов. И такая мука смотреть в старое, несхожее с прежним лицо, мысленно «протирая» его, как мутное стекло, чтобы увидеть то, увидеть так, как тот, чья давняя любовь и нас заставляет любить, плакать, надеяться. Я стала глядеть по сторонам в Армении: стала искать прекрасных, очень старых женщин. И нашла множество, но ни одну не звали Эгнар...

Несомненно, однако, что люди, которых описал Армен, были, были в самом деле. Был мастер Мкртич, сам нарушивший обычай, чтоб жениться на любимой, однако впоследствии именно обычаем наказавший ее любовь. Был огородник Еранос, не смевший обычая оспорить и лишивший себя жизни, лишь только дважды взглянув на любимую. Был смелый юноша Варос, не знающий, что ценой вечного отчаяния заплатит за смелость нескольких счастливых дней. Были старые мастера, хмуро и торжественно сидевшие на поминках о друге над быстрой рекою, ну уж их-то всякий может увидеть — они остались на холсте Пиросмани. Были в самом деле и молодые парни «в футболках и кепках», подобные Галусту: несмотря на предсмертный запрет отца, Галуст вскрывает родник над могилой матери, и видит тайну чуда — особое смыкание и размыкание ржавых от времени труб, известное только мастеру Мкртичу. Да, эти парни легко вскрывали тайны отцов, легко проникали в устройство труб — а тайна, тайна все-таки оставалась, ибо была она не чудом техники, а чудом любви и утешением в ее потере.

Конечно, все они **были**, эти люди, рожденные на долго сохнувших страницах повести Мкртича Армена. Писатель знал и слышал их столь же явственно, как журчание воды в бесчисленных ручьях, родниках, реках Армении. Журчание армянской «джур» — воды. Легендой о воде, как и легендой о любви, омыта повесть Мкртича Армена. Это вслушивание, вникание в живую жизнь земли, в ее вечно живой народный эпос, в муки и радости собственного сердца, бьющегося в унисон с окружающим миром, — и родили нежную поэтическую подлинность «Родника Эгнар». Можно, разумеется, отыскать т.н. «литературные» источники повести Армена. Но мне хотелось бы заметить «музыкальные». Наивные плавные ритмы этой прозы (не ее лексики, ибо о лексике нельзя судить по переводу, но ритмы прозаической структуры) сродни народной армянской песне в записях молодого Комитаса, еще не «сладкопевца», еще Согомона Согомоняна. К этой музыке часто обращается Армен в «Роднике Эгнар» и так пишет о ней: «... в наступившей тишине послышался неторопливый перестук барабана. В безмятежном спокойствии раннего утра звуки эти были мягки и приятны: к барабану прикасались не палочками, а кончиками пальцев. Звук приближался со скоростью медленно движущегося экипажа. И не видя, можно было представить себе музыканта: он сидит в фазтоне, держит краснобокий барабан на коленях и постукивает пальцами по его тугой, полупрозрачной желтоватой коже. Немного погодя стали слышны и звуки зурны, вернее, двух: одна вела мелодию, а вокруг нее журчащими переливами плела свою вязь вторая». Понимал ли Армен, что этот абзац о музыке есть по существу его собственная эстетическая программа, объяснение его стиля, композиционной системы его главной, так рано созданной книги? Нет, вероятно. Он слушал окружающий его мир, восхищенно любил родные звуки — и мы имеем ныне счастливую возможность понять и полюбить этот мир, отраженный в призме прекрасной прозы, в музыке, которую Армен назвал «глубокой и стонущей, словно рыдание».

Печальна арменовская повесть о любви. Да и есть ли на свете веселые любовные повести? Разве сказки только с их утешающим каноном «хэппи энда» — счастливой свадьбой... Но история Эгнар и любивших ее начинается после свадьбы, посредине той таинственной жизни, что всегда за

пределами сказочного «хэппи энда». Рыдающе печальна эта повесть — похороны и смерти соседствуют с редкими мгновениями счастья. Отчего же после чтения остается в душе только жаркий и ясный свет, отчего высокое горе, отраженное искусством, так легко плавится в могучую радость?

Русский читатель теперь узнает об Эгнар и тех, кто любил ее больше самой жизни. Книгу, давно признанную армянской советской классикой, перевела на русский Нелли Хачатурян. Вероятно, эта тонкая работа далась ей непросто: ведь легко обратить на чужой язык только дурную книгу. Конечно же, счастливицы, знающие оригинал, скажут, что по-армянски это еще лучше. Но мы благодарны переводчице — она органично сумела воплотить в русской лексике темп и характер прозаико-поэтической речи Мкртича Армена.

И вот окончено чтение «Родника Эгнар». Читалась повесть единым духом, а чувствуешь усталость, как после большой работы. Счастливую усталость жаркой любви, когда голос в засыпающих улицах поет «Сирун вардн, кармир вардн»¹. Ты закрываешь книгу и словно бы стоишь на пустом перроне: поезд с дорогим человеком только что ушел. Странное сочетание чувств — не то потеря, не то встреча... И боишься пошевелинуться, чтоб не пролить полную чашу сердца, и будто заново учишься ходить. Должно пройти время, прежде чем ты услышишь внутри себя задумчивый голос той птицы, которую слышал мастер Мкртич Армен. Однотонно и ласково ведет она свою мелодию: о-по-о! о-по-о! «Отворилась калитка, — говорится в «Роднике Эгнар» — ...Отворилась калитка, и вошел мастер Мкртич... Был когда-то такой человек, жил, работал, прошел свой жизненный путь и умер, унес с собой весь свой мир, а теперь воскрес...» И вспомнив эти строки — вдруг осознаешь их пророческий смысл. Вот она, калитка в барьере реалий, которые в юности перешагнул Мкртич Армен. Он открывает ее всякому своему читателю и всякого приглашает к себе — на пир высоких чувств и вечных истин. «Сирун вардн, кармир вардн»...

АЛЕКСАНДРА ПИСТУНОВА

¹ «Прекрасная роза, красная роза» (арм.).

ПРОЛОГ

1

В Дзори Богазе, старом квартале Лениакана, еще сохранившем все своеобразие облика и уклада старинного Гюмри, умирал в своем домике знаменитый строитель родников мастер Мкртич.

Шестьдесят пять лет прожил он на белом свете, но умирал не от старости: и крепок был покуда, и здоров. Настолько здоров и крепок, что, казалось, сейчас поднимется, накинёт на плечи архалук, наденет картуз, проведет рукой по высокому лбу и шагнет за порог, навстречу миру и жизни. Но нет — он лежал и умирал, неотвратимой и неотдалимой смертью обреченного человека. Он умирал, потому что выполнил до конца свое жизненное назначение, отдал миру все, что должен был отдать, и за порогом дома мастеру Мкртичу больше нечего было делать.

Сорок лет строил он родники и все сорок лет твердо знал и верил, что кончит сороковой родник — и умрет. Потому и число наметил немалое: хотелось как можно дальше отодвинуть черный призрак, что стоит в конце жизненной дороги — смерть.

Первый свой родник он построил двадцати шести лет от роду, и число сорок казалось тогда таким огромным, а минута, когда будет завершена последняя работа, — такой далекой! Мастер построил еще четыре родника — и подумал было, что четыре десятка ему не одолеть, и не придется, видно, довести до конца дело своей жизни. И горько каялся он тогда, что выходя на дорогу мастерства, дал обет построить сорок родников, а не семь или двенадцать.

Но годы и родники незаметно выстраивались друг за другом длинной вереницей, и однажды он с немалым изумлением обнаружил, что закончил уже двадцатый родник и, стало быть, наполовину выполнил и свое жизненное назначение.

На тридцать четвертом роднике он заболел и пал духом: похоже, этот родник — последний. Однако выздоровел. А когда выздоровел, с беспощадной ясностью понял, что строить осталось уже немного и спешить больше ни к чему.

Он попробовал было не спешить. Не стоило и пробовать... Тридцать четыре родника подряд — и руки и ум мастера работали в одном и том же ритме, и замедлить его было уже невозможно. Он был обречен и дальше ставить по роднику в год — словно вехи на пути к собственной могиле.

Поняв это, мастер безропотно покорился своей участи: что ж, значит, не судьба отодвинуть срок, который он сам себе отмерил.

И он продолжал строить, как прежде, и все жалел только, что в молодые свои годы поставил целью жизни сорок родников, а не семьдесят семь или сто. Теперь-то он твердо знал, что задумай тогда хоть втрое большее число — все равно выполнил бы свой обет. И та же неколебимая убежденность, которая хранила его до сорока родников, сохранила бы хоть до ста двадцати.

Но проку от этих мыслей не было уже никакого, и мастеру Мкртичу оставалось только одно: умереть. И он умирал — тихо, грустно и сосредоточенно.

Он начал умирать сразу же, едва кончил сороковой родник. Чуть только работа была полностью завершена, мастер вдруг почувствовал, что холодеет кровь в жилах, что там, внутри, что-то сломалось... жизненный стержень, наверно. Он побрел домой, разделся и лег — чтобы больше уже не встать...

* * *

В Дзори Богазе, старом квартале Лениакана, еще сохранившем все своеобразие облика и уклада старинного Гюмри умирал в своем домике знаменитый строитель родников мастер Мкртич.

Дома были только он и невестка. Это она обложила его подушками, и теперь мастер полулежал на них и смотрел в окно на мир, из которого ему скоро уходить.

Дом стоял на склоне неглубокого ущелья, и в окно виднелись неогороженный дворик и цепочка высоких тополей по его кромке. В просветы между тополями мастеру видны были плоские кровли двух других домов, стоявших ниже по склону, а за ними — снова залитые солнцем верхушки тополей; они вымахали выше крыш и бросали на них клочковатую тень. В просвете между домами, словно взятое в раму, виднелось дно ущелья. Оно было плоское и широкое, и по нему протекала обмелевшая речка. На берегу стояла женщина: наклонившись к воде, она мыла ковер. Видны были ее белые, полные ноги. Мастеру казалось, что он различает даже ямочки в подколенных впадинах. Он смотрел на эти ямочки, и сердце заливала безысходная тоска. Эти литые, красивые ноги были сама жизнь, та жизнь, в которой ему уже не было места. Смотрел мастер, и хотелось ему одного — чтобы в смертный час были бы у него перед глазами эти ноги.

Но вот в поле его зрения вошла, пощипывая травку, лошадь. При каждом движении солнечные блики играли на ее груди и крупе. Какое тугое, блестящее тело, какая в этом существе сила... Вот блеснули на солнце белые зубы... Вот лошадь мотнула головой и взметнулась густая грива. Какая красивая грива... Нет, не женские ноги, а это статное, играющее мускулами тело хотел бы он иметь перед глазами в свой смертный час!

На другом склоне ущелья тоже стояли дома. Наверху они выстроились в три длинные улицы, а пониже рассыпались каждый сам по себе. Вокруг домов тоже были неогороженные дворики, и эти дворики тоже были окаймлены рядами высоких тополей с залитыми солнцем макушками. В одном конце двора неизменно стоял колодец, в другом — курятник, а посередине, привязанный цепью к дереву, дремал верный пес.

Мастер смотрел, не отрываясь, и сердце щемило все тоскливее. Здесь он пришел в этот мир, здесь и уходит из него. Здесь же он начал строить свои родники. Вон он, первый родник, созданный его руками — тоже виден из окна.

Родник этот он поставил под развесистой ивой, в конце одной из тех трех улиц. В головах родника помещалась большая квадратная плита, из нее выходила труба. Это была короткая, широкая блестящая труба, из которой вот уже сорок лет лилась в каменную чашу тугая струя чистой воды.

И каменная плита — от прикосновений рук, и каменная чаша — от прикосновений воды — отполировались и блестели словно лакированные. Плита была из красноватого горного камня, и казалось, будто ей передали свое тепло горячие руки гюмрийских женщин, а камень чаши отливал голубым, и казалось, это выстудила его ледяная родниковая вода.

Мастер Мкртич не смог бы сказать, что он видит глазами, а что памятью сердца, но все это стояло перед ним наяву, зримое, яркое и живое.

По ту сторону, ущелья, на одной из улиц поднялось облако пыли. Оно быстро двигалось туда, где ущелье плавно выравнивалось в долину, и его улицы незаметно сливались с улицами города. Откуда вдруг пыль, когда совсем нет ветра, когда не шелхнутся даже верхушки тополей? А, понятно — машина едет...

Так и есть, вот она мелькнула между домами. Раздался гудок, он предупреждал игравших посреди улицы ребятишек: про-о-чь с дороги, про-о-чь, попадете под машину — конец. Страшная, непоправимая штука смерть, про-о-чь от нее, про-о-чь...

Он все еще глядел в окно недвижимым, остановившимся взглядом, все еще всматривался в сменяющие друг друга картины жизни, когда в коридоре послышались торопливые голоса и в комнату гурьбой ввалились старые друзья мастера, тоже именитые ремесленники.

— Мкртич? Мкртич!

Мастер медленно перевел на них взгляд.

— Слушай, что ж это ты, а? С какой стати в постели лежишь?

— Последний раз в постели лежу, вы уж не взыщите, — сказал мастер. — Садитесь. Сношенька, стулья подай.

Невестка расставила стулья у кровати и снова вышла. Видно, у нее была какая-то работа в другой комнате.

— Садись ко мне, хаджи¹, — обратился мастер к одному из вошедших, который собирался сесть на стул, как и все остальные.

Сразу стало очень тихо. Все поняли, что мастер и впрямь помирает, раз простил этого человека и пригласил сесть рядом с собой.

Когда хаджи сел, мастер обратился к остальным:

— И — ни слова об этом больше, хватит. Ну, как поживаете, братцы?..

— Как мы поживаем — дело десятое, ты о себе скажи, — отозвался мастер Аветик, который всю жизнь строил мосты. — Слег, значит, братец Мкртич... Да-а... Что ж, мы тоже вот-вот услышим колокольчик верблюда, которого, говорят, Смерть посылает. Не сегодня-завтра и у наших дверей остановится.

— Слег... Что суждено было на земле совершить — сделано. Дальше задерживаться не для чего.

Мастер выпростал из-под одеяла бледную руку — она приметно дрожала — и продолжал:

— Еще в молодые годы дал я клятву, что построю сорок родников. Седрак знал о той клятве, мир его праху. Геворк тоже знал, упокой, господи, душу нашего Геворка... Еще Мехак знал... Еще Симавону я говорил...

Он вдруг уперся руками в подушки и сел:

— Что ж это? Никого, выходит, не осталось? Неужто все померли?

— Я тоже знаю... — тихо произнес один из мастеров.

Мастер облегченно откинулся на подушки.

— Ты тоже знаешь, Аветик, верно.

Помолчал и добавил:

— Вот и мой родник иссяк...

Мастер Каро, который всю жизнь строил дома, тяжело вздохнул и отозвался:

— Закон жизни это, Мкртич... У каждого человека рано или поздно иссякает его родник. Только одни — память о себе оставляют, а другие — нет. Твой родник иссяк, но вместо тебя сорок родников на земле остаются. В сорок голосов благословлять тебя будут. И во веки веков всякий, кто из них напьется, тебя добрым словом помянет.

Но мастер Мкртич его не слышал. Он все смотрел в одну точку, и мысли его были далеко. Помолчав, он повторил вполголоса:

— Вот и мой родник иссяк... как родник Эгнар.

¹ На Востоке **хаджи** называли мусульман, совершивших паломничество (хадж) в Мекку, и христиан, совершивших паломничество в Иерусалим, к гробу господню. (Здесь и далее прим. переводчика).

Все окаменели. Мгновенно воцарилась тишина, и длилась она долго. Давно, очень давно не слышали они и сами не произносили этих слов — «родник Эгнар». И далекое прошлое вдруг воскресло и встало у них перед глазами.

Родник Эгнар... Он не входил в число сорока родников мастера Мкртича, да и не мог входить, слишком уж он был необычный, удивительный и непонятный. Таким непонятным он и ушёл в прошлое, потому что родника Эгнар, в сущности, почти уж и не было. Во всяком случае, чудо, которое случилось с ним двадцать лет назад, кончилось в тот же день и никогда больше не повторялось.

— Родник Эгнар... — прошептал Баграт. — А ведь и правда, братцы, родник Эгнар!

Родник Эгнар встал перед ними, точно наяву, и все были поражены куда больше, чем в тот день, когда видели чудо своими глазами. Тогда люди верили в чудеса, и если уж чудо случалось, его принимали, не раздумывая. А сейчас все казалось таким невероятным...

Агаси, который всю жизнь прокладывал колодцы, встал и пересел на кровать к мастеру.

— Мкртич, — сказал он, — мы все как братья тебе. Чужих никого нет. А ты... как знать, может, и впрямь настал твой черед сесть на верблюда Смерти и влиться в караван вечности, как исстари говорится... Между нами останется, Мкртич, дальше не пойдёт... Хоть теперь скажи: как это вышло? В чем секрет чуда? Родник-то ты своими руками строил! А чудо — оно ведь божьих рук дело...

Мастер Мкртич заметно помрачнел. Затаив дыхание, все ждали, но он задумался — надолго, очень надолго. Показалось было даже, что мастер думает совсем о другом, и отвечать не станет. Но он снова выпростал из-под одеяла руку — теперь она дрожала еще сильнее — и заговорил:

— Родник, конечно, дело рукотворное... А вот чудо — нерукотворное! В том, что сделал я, никакого чуда не было, родник как родник, а уж чудо — бог в него вложил. Что я вам скажу, братья, когда сам не больше вашего знаю?.. Я из земли сотворен, мне и под силу только земное. И раскрыть я могу только тайну родника, а уж тайну чуда пусть бог раскрывает, коли будет на то его господня воля.

— И коли мы будем достойны, — сокрушенно вздохнул Саркис. — У каждого ведь на одном плече — вьюк грехов вольных, на другом — вьюк невольных.

— У меня на спине только один вьюк, — тяжело вымолвил хаджи, который до того не произнес ни слова, а теперь страшно побледнел. — Да он и один все грехи мира перетянет.

Мастер накрыл его руку своей:

— Это я виноват, хаджи. Сам сказал, чтоб об этом — ни слова, и сам же такой разговор завел. Ты уж прости.

Потом невесело усмехнулся и продолжал:

— Сердце человеческое — оно как дом. Говорят мне: «Рухнет сейчас твой дом». Говорят мне, чтобы детей поскорей из дому выводил. Сорок детей у меня — так они все за воротами. А в доме-то кто же остался? Заглянул я внутрь, вижу: полон мой дом. Это слова мои, которые не успел я наружу вывести. «Торопись! — говорят мне. — Выводи скорей детей, рухнет сейчас твой дом!» Кого же первым выводить? Времени-то у меня в обрез. Вот я и вынес самого любимого сына, самого больного и обиженного. Прости меня, хаджи...

Чтобы переменить разговор и вывести хаджи из неловкого положения, Онес спросил:

— Сказал ты «сын», я и вспомнил... Ты что же, сына своего так на глаза и непустишь?

— Сноха телеграмму послала. Ответ получили... Выехал он. А уж застанет ли, нет ли — бог весть. От Москвы до нас четыре дня пути, а отсюда до того света — четыре минуты.

— Мкртич, — с укором в голосе заметил Агаси, — зря ты, ей-богу, вбил себе в голову: помру да помру. Бог даст, еще и встанешь.

Мастер безнадежно махнул рукой и ничего не ответил. Он еле дышал. Двое-трое из мужчин подошли к окну, открыли его, закурили и стали вполголоса совещаться. Потом Онес подошел к дверям и кликнул невестку.

— Послушай, дочка, — начал было он, но, увидев ее покрасневшие глаза, прервал свою речь на полуслове и наставительно заметил: — Не плачь. Закон природы, ничего не попишешь. Мкртич в возрасте человек... Не надо убиваться. Ну, ступай, ступай, ополосни лицо и возвращайся, посиди с ним. Мы теперь уходим. Вечером снова придем. Хуже станет — дай знать, мальчишку соседского пришли. Мы тут недалеко будем, на стройке.

* * *

В Дзори Богазе, старом квартале Лениакана, еще сохранившем все своеобразие облика и уклада старинного Гюмри, умирал в своем домике знаменитый строитель родников мастер Мкртич.

Друзья ушли, а он остался лежать, не двигаясь и ничего не чувствуя. Он был в сознании, но сделался равнодушен ко всему на свете. Ничто не волновало его больше, даже воспоминания о роднике Эгнар. Ворота разума медленно затворялись, и проскользнуть в них удавалось уже только тому, что было прямо перед глазами. А там стояла теперь не вся картина живого мира за окном, а один лишь родник — первое творение его ума и его рук...

Мкртичу было двадцать шесть лет, когда он, проучившись до того пять лет у других мастеров, построил этот родник как первую самостоятельную работу. Собрались именитые гюмрийские мастера — строители родников, придирчиво осмотрели его первенца, попробовали раскатать головной камень — крепок ли, попробовали воду — холодна ли, потом один из них прикрыл ладонью горлышко трубы — не пропадет ли вода, не иссякнет ли.

Помешать роднику течь — великий грех, кто ж этого не знает. Но только не для мастеров, которые принимают работу подмастерья! Когда мастер отвел руку, все увидели, что вода потекла снова, обильной и ровной струей, как и прежде.

И Мкртича посвятили в мастера. Тут же, у родника, он выставил богатое угощение, выпивку, пригласил музыкантов и так отпраздновал свое вступление в звание мастера.

Мать Мкртича давно решила женить сына сразу же, как он станет на ноги. Не год и не два приглядывалась она исподволь к девушкам Дзори Богаза, все присматривала себе невестку, но твердо остановиться на ком-нибудь так и не смогла. Наконец, решила, что и не станет выбирать сама, а положится на волю божью. На следующий день после посвящения Мкртича в мастера мать отправила его на ранней зорьке к роднику: посмотреть, кто из девушек придет по воду раньше всех. Та, что придет к роднику первой, и будет, по воле божьей, женой строителя родника.

Эгнар, на которую Мкртич заглядывался уже давно, пришла третьей. Молодой мастер тяжело вздохнул и побрел домой. Первая девушка была дурнушка. Все девушки Дзори Богаза были дурнушки в его глазах, все, кроме Эгнар. Но — от судьбы не уйдешь, такова божья воля...

— Кто она? — спросила мать.

Мкртич чуть помедлил и вдруг, неожиданно для самого, себя у него вырвалось:

— Эгнар, матушка.

Сказал — и ужаснулся. Грех... какой грех! Обманул мать... ослушался бога! Не миновать ему божьей кары, не видать счастья в жизни...

Но — слово не воробей, вылетит — не поймает.

Через несколько дней мать собрала родственниц и пошла просить Эгнар за сына. Но родители красавицы Эгнар ждали для дочки женихов позавиднее и отказались выдать ее за парня, у которого пока все впереди, а что — одному богу известно.

С такой вот смертной обидой и вернулась домой мать Мкртича. Но еще по дороге она обдумала, как отомстить обидчикам и поубавить им спеси.

Дня не прошло — и весь Дзори Богаз уже знал: мать мастера Мкртича пошла сватать Эгнар за сына, да заметила у девушки хворь, «бледную немочь», и вернулась, не затевая сватовства.

Эгнар сразу упала в глазах гюмрийцев. Нескончаемый поток сватов мигом оборвался — точно ножом отрезало. Эгнар была девушка задумчивая и легко ранимая, и эта история ее просто подкосила. Она и впрямь слегла и прохворала несколько месяцев кряду.

Мать Мкртича не решалась оспаривать божий выбор и посватать сыну другую девушку. Самого Мкртича это несколько не огорчало, он согласен был не заводить семьи хоть до могилы: ему нужна была только Эгнар, больше никто. А Эгнар за него не отдали. Видно, бог покарал за ложь...

Прошло три года. За это время гнев старухи поутих, и к ней вернулась способность судить здраво: божью волю нарушить — грех, парня навсегда без семьи оставить — тоже грех.

Она снова собрала родственниц и пошла сватать Эгнар второй раз. Теперь-то она знала наверняка, что родители «недужной», «засидевшейся в девках» Эгнар артачиться не станут. Ей еще спасибо пусть скажут, что берет их хворую дочку за своего сына. И не взяла бы, да с богом не поспоришь, руку судьбы не отведешь. А то она и думать бы забыла про эту Эгнар — больная, худая, улыбки на лице не увидишь.

И в самом деле, на сей раз семья девушки сразу же дала согласие. Эгнар стала женой мастера Мкртича.

...Вот сколько воспоминаний пробуждал этот родник — первое творение его ума и его рук.

Вода из него лилась на диво прозрачная, прозрачнее, чем когда бы то ни было. Казалось, это льется, утекает не вода, а жизнь мастера Мкртича, и оттого-то он и теряет силы и умирает. Но, помешать воде течь он не хотел даже в эту минуту.

А потом стало казаться, что это струится совсем не его жизнь, а сила земли, которая должна влить жизнь в жилы своих детей. А он, мастер Мкртич — всего-навсего обычный человек, гюмриец, которому выпало на долю открыть сорок источников этой жизненной силы для тех, кто жил в одно время с ним и рядом с ним — для своих земляков. И он гордился этой большой, этой высокой честью.

Перед тем, как сомкнуться уже навеки, створки ворот разума вдруг снова, быть может, всего на минуту-другую, раздвинулись, и вслед за первым родником мастер вспомнил веху на полпути — двадцать первый родник, вспомнил последнюю веху — сороковой. Оба они занимали в его жизни особое место.

...На одной из главных улиц города стоял дом, не похожий на остальные. Другие дома выстроились ровной шеренгой, этот же отступил от красной черты, словно попятился назад. Пространство перед домом было скрыто на глубину в целый этаж и выложено черным камнем. С улицы в эту четырехугольную яму вела каменная лестница. Внизу, в яме, прямо напротив последних ступенек, из глухой стены выступала труба.

Это был двадцать первый родник мастера Мкртича.

Чашей для родника служило все дно ямы: вода покрывала его целиком и омывала последнюю ступеньку лестницы.

Если человек, спустившись, чтобы напиться, поднимал голову, он видел вместо потолка низ дощатой веранды, которая тянулась от дома в сторону улицы и наполовину прикрывала собой яму, нависая над нею.

В головах родника, среди черных плит облицовки была вставлена одна красноватая. В выбитой на ней надписи хозяин молил всевышнего об отпущении грехов и просил прохо-

жих помянуть его перед богом добрым словом. Под надписью помещалась блестящая желтая труба, изнутри отливавшая лунным светом, как бы посеребренная водой. Посредине труба раздувалась, словно шар, у основания и горлышка была узкая, а края ее широко расходились надвое, отчего труба напоминала пасть диковинного зверя. Струя была тугая, обильная, и чувствовалось, как вместе с ней из трубы льется прохладная свежесть.

Это был единственный родник, построив который мастер долго потом жалел о том. Пока шла работа, он не очень представлял себе, как будет выглядеть его детище, потому что план дома и родника был не его, а заказчика. А когда представил, было уже поздно. И мастеру оставалось только отводить душу в проклятьях: чтобы долгой, словно текучая вода, стала не жизнь хозяина (как принято говорить), а горечь этой жизни, чтобы читались на роднике не слова смирения и благочестия, а брань и поношения, чтобы не благословляли, а проклинали хозяина прохожие... Поостыв, он прекратил бесполезные сетования, плюнул на дом и перестал ходить по этой улице.

И в самом деле, каждому, кто спускался вниз напиться, казалось, что он попадет в подчинение, в рабство к этому надменному дому. Каждому, кто наклонялся напиться, казалось, что он склоняется в униженном поклоне. Каждому, кто пил из родника, казалось, что с водой впитывает он и яд покорности. И каждому, кто испил воды, казалось, что он осужден на кабалу бесповоротно.

Когда победила революция, мастер в первый же день взял свой рабочий молоток и поспешил к проклятому дому, чтобы уничтожить надпись над родником. Но когда пришел, увидел, что опоздал: кто-то уже успел сбить не только надпись, но и ненавистную веранду. Впервые за пятнадцать лет на золотистой трубе заиграло солнце.

Вот почему с первого же дня Советской власти мастер шел безотказно, куда бы его ни приглашали, и брался за работу. Работал, строил последние свои родники. А когда осталось построить всего один, самый последний родник, мастер, прямо в обсыпанном красноватой каменной пылью фартуке, явился в дирекцию текстильного комбината.

Во всех домах и учреждениях комбината давно был водопровод. Мастер сам привел сюда воду по широкой керамической трубе, а дальше уже другие, новые мастера — водопроводчики развели ее по узким металлическим трубам. И все дома получили воды вдоволь.

И все-таки мастер лелеял мечту поставить в этой части города, на одном из перекрестков, обычный родник. Очень мягко, стараясь не обидеть любимого всеми мастера, дирекция отказалась поддержать его предложение: сочла родник излишеством.

— Какое еще излишество?! — возмутился мастер. — Пусть себе течет вода, вас от этого не убудет! Пройдет мимо путник — напьется, спешит человек по делам — тоже напьется, влюбленный от любви сгорает — опять же напьется. Что же им, по-вашему, каждую минуту в дома бегать? Ржавую воду пить?

В дирекции заулыбались (все знали, что мастер относится с презрением к металлическим трубам и водопроводным кранам), но решения не изменили, а в оправдание заметили, что бюджетом не предусмотрено особых сумм на родники для путников, торопыг и влюбленных.

Тогда мастер заявил, что будет работать один, в нерабочее время, бесплатно — но родник все равно построит.

И он приходил каждый день после работы и трудился дотемна. И чем дальше продвигалась работа, тем больше он убеждался, что этот родник только так и надо было строить: только своими руками и только бесплатно — как дар людям. Последний, самый последний его родник...

Как и на всех своих родниках, мастер собственноручно выбил на нем надпись. В увитой цветочным орнаментом рамке было написано на древнеармянском языке — грабаре:

«Поставил родник сей в часы отдыха во спасение дела своего мастер Мкртич».

Директор комбината посоветовал было сделать надпись на современном языке, а то, мол, рабочие не поймут. Но мастер строго и назидательно, ответил:

— Ничего, пусть два-три слова на грабаре выучат, язык не отвалится. Дедов ихних язык...

«Во спасение дела своего» тоже имело свою историю. Мастер собирался было выбить, как обычно, «во спасение души», но тут набежала молодежь — рабочие, работницы — стали просить, чтобы не делал этого. Принялись объяснять, что души нет, что в человеке — только дыхание и оно природой дается, а не богом.

Мастер выслушал внимательно, без возражений, потом невесело отозвался:

— Есть же в человеке что-то такое, что не должно умереть вместе с ним, что должно остаться, когда его не станет. Хотите — душой называйте, хотите — именем, хотите — делом человека, хотите — дыханием его... Так вот, я это хочу спасти, затем и родник строю...

И тут же, при всех, вместо привычного «души» высек на камне «дела».

И вот, всего за день до того, как слечь мастеру, встал перед людьми совершенно готовым последний, сороковой его родник. Жизненный путь мастера из конца в конец освещали теперь ровно сорок факелов, сорок чистых и нетленных родников, которые уже столько рассказывали и столько расскажут еще о своем творце, которые не дадут стереться в памяти людской его делам и его имени.

И вдруг обожгла мысль: нет, все умрет вместе с ним, все пойдет прахом — и дело его и имя! И причиной будет старая, давно ушедшая в прошлое история... Мысль эта пронзила его мозг как молния; потрясение было так велико, что он стряхнул с себя смертное оцепенение и тревожно кликнул невестку.

Та торопливо вошла в комнату.

— Что? Что случилось, отец?

— Подойди...

Невестка подошла к кровати. В глазах ее был испуг.

— Сядь. В той комнате никого нет?

— Геворкова мать пришла.

— Пришла, чтоб ты не одна была, — догадался мастер. — Это хорошо... Что сюда не зашла? Матери моей привет бы от нее снес...

— Ты спал, потому. Позвать ее?

— Не спал я... Не зови, уже не стоит... Сказать надо кое-что... Садись.

Невестка присела на краешек кровати и напряженно ждала. На лице мастера явственно читалась нерешительность: говорить?.. А может, не говорить? Может, сын еще подоспеет...

— Не приехал? — спросил он после долгого молчания.

— Не время еще поезду, рано.

— А моему поезду — пора. Неладно вышло, сношенька...

Дверь приоткрылась, в комнату осторожно заглянула старая женщина. Невестка замахала рукой, чтобы та не входила. Дверь сразу затворилась.

Мастер ничего не заметил. Он продолжал:

— Сама знаешь, как обижен я на сына своего, на твоего мужа. Занесся очень... Моя наука ему, видишь, не годится... к другим поехал моему делу учиться, у меня не стал. Нехорошо...

— Так ведь там профессора учат, отец.

— Ах, профессора?!

Мастер высунул руку из-под одеяла, сжал дрожащие пальцы в кулак и с силой ударил себя в грудь:

— Я — самый главный профессор! У кого ни учишь — без отцовской науки грош ему цена...

Мастер оборвал речь на полуслове, заметно взволнованный. Ему трудно было продолжать: боялся сказать лишнее про сына. Долго молчал, а когда снова заговорил, голос был спокойный. Пугающе спокойный.

— Если б он успел, приехал, я бы сам поговорил с ним, сам бы всему научил. Сейчас не оценит — потом поймет, без меня ему не обойтись... Который час?

Невестка встала и пошла было к комоду, где среди старых семейных фотографий и бумажных цветов, между гипсовой кошечкой и зайцем негромко тикали часы.

— Вернись, дочка... не надо... — поспешно окликнул мастер. — Сам знаю... Три минуты осталось...

Невестка вернулась обратно и снова присела на кровать. Истинного смысла слов мастера она не поняла. А он продолжал:

— Сыну моему скажешь: трудно будет — пускай разберет любой мой родник, какой захочет, и пусть на нем учится. Скажи, пусть не смеется над отцом... и пусть не забывает... Скажи, что в смертный час зла на него не держу. Передай последний мой привет и поцелуй. Смотри, ничего не забудь...

Мастер замолк. Невестка с ужасом заглянула ему в лицо. Нет, он был еще жив. Он думал. И вдруг, собрав все силы, сел и, с мучительной тревогой глядя в глаза невестке, крепко стиснул ей руку.

— Наказ тебе даю! Сыну скажешь: все прощу, любую вину. Но вечное ему мое проклятье, если коснется родника Эгнар!

— Что ты, что ты, отец! — ужаснулась невестка.

— Пусть разберет хоть все сорок родников, в том смертного греха нет. Но родник Эгнар — другое дело, под ним могила...

— Весь город это знает. Зачем ему трогать!

— Мало ли... Может, из-за чуда... В мое время такое и в голову бы никому не пришло, а теперь... Теперь люди хотят божье чудо сами проверить...

— Так ведь чудес-то не бывает.

— Чудо — для тех, кто верит... Так и скажи ему. Кто не верит — тому и чуда не видать. Скажешь сыну: чудо родника Эгнар — не в камне и не в земле, а в душах людей. В мое время в них вера была... А теперь — прощай.

Во дворе послышался шум. Невестка метнулась к дверям. В коридоре раздался мужской голос, что-то торопливо ответил женский, дрожащий от слез, дверь распахнулась, и в комнату стремительно вбежал Галуст, сын мастера Мкртича.

Мастер был мертв.

2

Мирное, тихое голубое утро вставало в комнате мастера Мкртича. Таким же мирным и тихим было пробуждение Галуста, словно во сне он долго слушал тишину.

Он лежал в комнате, где днем раньше умер отец, и смотрел на непостижимо нежную, почти неправдоподобную синеву за окном. Вечером Манана забыла закрыть ставни, и теперь Галуст был рад этому: он видел, как встает утро над Дзори Богазом — первое утро, которого отец уже не увидит...

Перед домом в сумеречной полутьме утра неясно белели стволы тополей. За ними, наверху, там, где проходила самая верхняя улица противоположного склона, светящее небо зубчатым горизонтом спускалось на еще темный строй высоких и невысоких домов. Над дверьми еще горели керосиновые фонари уличного освещения, и на улицах пока царила совершенная ночь.

Ниже тополей, там, где в просвете между домами виднелось широкое плоское дно ущелья, в недвижимом темном воздухе журчала темная вода речки.

Галуст смотрел из теплого полумрака комнаты и чувствовал, как с верхушек тополей струится вниз прохладная свежесть и как струится вверх прохладная свежесть речных струй.

С соседней кровати слышалось ровное дыхание Мананы. Казалось, это от него — и спокойное тепло комнаты, и спокойный ее полумрак.

И вдруг эта комната — с коврами на стенах и коврами на полу, с тускло-голубыми и тускло-красными одеялами, с ночником, тускло мерцающим на столике в углу, — показалось Галусту такой несоизмеримой с тем, что за окном, такой отгороженной от жизни, такой тесной! И впервые сердце его сжала та же щемящая тоска по жизни, по миру, что томила перед смертью его отца, в той же комнате, у того же окна... Галуст встал, бесшумно оделся, открыл дверь и шагнул за порог, навстречу жизни и миру.

Едва отворив дверь, он услышал в прохладной тишине мягкий лепет листвы и воды. Утро, такое голубое и призрачное из комнаты, здесь оказалось тусклее и реальнее. Фонари еще горели в прохладном полумраке, но уже не лучились, как бы замкнувшись в себе. На высоком столбе одиноко горела большая электрическая лампа. Она легонько раскачивалась: как видно, по верхам над городом шел предутренний ветерок.

Ставни, двери и ворота всюду были еще закрыты, на площадках перед домами и на улицах не было ни души. Мягкий говор листвы и воды, отчетливо различимый в первые минуты, теперь незаметно стих. Все вокруг молчало. Только слышно было, как за углом кто-то метет улицу. С кровли одного из домов — там жил извозчик — источал сильный и чистый аромат стог свежего сена; под боком у него прикорнула, затаившись, уходящая ночь.

Где-то далеко-далеко раздался холодный лязг железного засова: открылись ворота. Потом в снова наступившей тишине послышался неторопливый перестук барабана. В безмятежном спокойствии раннего утра звуки эти были мягки и приятны: к барабану прикасались не палочками, а кончиками пальцев. Звук приближался со скоростью медленно движущегося экипажа. И не видя, можно было представить себе музыканта: он сидит в фаэтоне, держит краснобокий барабан на коленях и постукивает пальцами по его тугой, полупрозрачной желтоватой коже.

Немного погодя стали слышны и звуки зурны, вернее, двух: одна вела мелодию, а вокруг нее журчащими переливами плела свою вязь вторая. Еще чуть позже послышалось ясное, звучное, неторопливое цоканье копыт по брусчатке: цок... цок... цок... Судя по всему, медленно, почти шагом, приближались два фаэтона. Когда они подъехали ближе, цокот копыт вдруг оборвался, утонул в дробном перестуке барабана, вокруг которого вились, окружая его мягкими переливами, обе зурны.

Из-за угла показался первый фаэтон. Секундой позже, всего на шаг позади первого, появился второй. В первом сидели музыканты — барабан и две зурны — и еще двое седоков, во втором — трое. Извозчики в толстых синих архалуках козырем глядели на встающий над ущельем рассвет. Проезжая по улицам, эта процессия будила людей, но не до конца, оставляла их в сладкой дреме полусна, и когда удалялась, они снова засыпали, убаюканные музыкой.

— Сто-ой!

Извозчики натянули поводья. С фаэтона с музыкантами соскочил один из седоков и пошел к окну с голубыми, как рассвет, еще закрытыми ставнями.

— Онес!

Он постучал в ставень. Никто не отзывался.

— Оне-е-ес! — закричали из фаэтона. Потом сказали стоящему внизу:

— Громче, громче стучи, Агаси...

В это время в комнате послышались шаги, потом зашевелился засов на ставнях (его изогнутый конец закрывался изнутри). Агаси вытащил его и раздвинул ставни. Женщина с распущенными черными волосами открыла окно и приникла лицом к оконной решетке.

— Доброе утро, сестрица, — поздоровался Агаси. — Онес дома?

— Это ты, братец Агаси? Доброе утро. Дома, дома, — отозвалась женщина мирным, как встающее утро, голосом только что проснувшегося человека и исчезла в темной глубине комнаты. Слышно было, как она вполголоса, чтобы не потревожить остальных, будит мужа:

— Онес! Проснись, Онес... братец Агаси зовет.

— Ну, чего он там? — нетерпеливо окликнули из фаэтона.

— Идет, идет, — успокоил Агаси. — На другой бок повернулся.

К окну в нижнем белье подошел заспанный Онес и хрипло спросил:

— Кто там?

— Онес джан! Жизнь за тебя отдам. Онес джан! Иди сюда, дружище! Иди сюда! — загомонили в фаэтоне. — Туш! Туш в честь Онеса!

— На Ахурян едем, — пояснил Агаси. — Одевайся. Со вчерашнего вечера у Аветика собрались, посидели.

Онес выглянул сквозь решетку на улицу.

— Аветик?

— Здесь я, Онес джан, — отозвался тот, кто сидел рядом с музыкантами, и помахал Онесу: — Давай, давай!

Не отходя от окна, Онес начал одеваться.

— А еще кто с вами? — спросил он.

— Саркис, Каро, Баграт.

— Одним словом, все в сборе, — подытожил Онес.

Пока Онес собирался, в фаэтоне заиграли одну из тех мелодий, которыми начинается утро в Гюмри. Барабан молчал, и музыка струилась мягко и сладостно, словно кто-то напевал ее вполголоса, без слов, на низких нотках. Временами зурна плавно поднимала звук и так же плавно опускала его, после чего мелодия становилась глубже и словно погружалась в дремоту.

Пока звучала музыка, Онес оделся, умылся и вышел на улицу.

— Доброе утро.

— Доброе утро. Садись, Онес джан, задержались мы, — заторопили седоки.

Баграт соскочил вниз, обнял Онеса, расцеловал и повел к своему фаэтону.

— Иди сюда, дружище, иди, — пригласил Каро и потеснился, давая ему место на мягком сиденье. Потом встал во весь рост и крикнул: «Поехали!»

Фаэтоны тронулись. Музыка вздрогнула и тоже двинулась вперед, постепенно убывая, как бы сходя на нет. На миг почудилось, что не расстояние, а время поглощает эти убывающие, гаснущие звуки.

Галуст так и стоял все это время, погруженный в свои мысли; очнувшись, он посмотрел вслед фаэтонам, и по сердцу полоснула горестная мысль: вот едут мимо самые близкие и самые последние, до гробовой доски, друзья отца — а отца с ними нет...

Когда мелодия совсем растаяла в тишине, раннее утро Дзори Богаза стало еще безмятежнее и затаеннее, Галуст взглянул вверх, на почти неподвижные верхушки тополей, и не услышал их шелеста: взглянул вниз, на речку, и не услышал ее журчания. Не смея нарушить эту удивительную тишину, пугаясь даже звука собственных шагов, он неслышно сошел к речке, перешел ее по камням и поднялся к первому роднику, построенному его отцом.

Вода струилась на диво прозрачная, прозрачнее, чем когда бы то ни было. Недвижной дугой вытянулась она между трубой и каменной чашей, и казалось, что это жизнь мастера Мкртича, вышедшая из неизвестности и снова уходящая в неизвестность...

Дзори Богаз был пока совершенно безлюден. Дома, разбросанные внизу, и длинные улицы наверху еще спали; ни шороха, ни шепота. Донеслось откуда-то громкое и деловитое чириканье воробьиной стаи, потом раздался мелкий шелест бесчисленных крылышек: видно, стая разом опустилась на одну из пустынных пока улиц, кинулась подбирать ячмень, что рассыпался ночью с проезжавших телег, и так же разом взлетела, испугавшись чего-то. В одном из неогороженных дворишков повыше ручья загремел цепью пес; потом он зевнул, и, лязгнув зубами, снова закрыл пасть. Под деревом лежала забытая с вечера игрушка. Колодезный рычаг был неподвижен, но свободно свисающий конец веревки слегка шевелился от неощутимого для человека ветерка.

В одном из домиков открылась дверь. Вышла полуодетая девушка в больших шлепанцах на босу ногу, с распущенными волосами, и отодвинула красные ставни. За решетками и стеклами заулыбались цветы в горшочках. Девушка снова вошла в дом.

Вдруг верхушки самых высоких тополей посветлели: видно, где-то там, совсем далеко, за ущельем и за городом, взошло солнце. В его свете влажные от росы листья засверкали, словно россыпи золотых монет. В тот же миг дохнул и мгновенно улегся ветерок; листья, все сразу, дрогнули от его дуновения, солнечные блики, трепеща и мерцая, полились вниз, золотя все новые и новые охапки листвы; казалось, с тополей дождем сыплется на землю золото, да не простое, а волшебное, о каком могли только мечтать жители Дзори Богаза. Тишина ущелья, все еще не нарушенная, теперь была полна какого-то затаенного напряжения. Это в домах проснулись или просыпались люди.

Незаметно бежало время. Солнце струилось все дальше вниз по тополям и теперь позолотило почти всю крону. От этого улицы и дома внизу казались еще темнее.

И вдруг, пронзив эту разлитую над миром темноту, солнечный луч упал на оранжево-красного петуха, стоявшего на плоской кровле. Петух вспыхнул неистовым, ослепительным пламенем. Когда, согретый теплыми лучами, он бодро отправился на поиски зерна, показалось, что солнце снова закатилось, и улица опять окунулась в густую тьму. Но петух появился на соседней кровле — еще ярче, потом на третьей, на четвертой... Словно сноп огня, мелькал он на кровлях Дзори Богаза и зажигал его солнечным пламенем.

И вдруг, очень громко и как-то совсем неожиданно, загудел гудок текстильного комбината. Он разнесся по всему ущелью и окончательно стряхнул с него сон и оцепенение. Следом за гудком, словно по проложенному им пути, хлынуло солнце и затопило Дзори Богаз. Утро кончилось.

3

С извечной безмятежностью струит свои воды заветный Ахурян. Он неглубок — ровно настолько, чтобы покрыть человека с головой, неширок — ровно настолько, чтобы вброд его не перейти, и не бурен — ровно настолько, чтобы сбить с ног. Ахурян не шумит и не выходит из берегов. Неторопливо, задумчиво и сосредоточенно струятся прозрачные воды реки по заветной Ширакской долине. Они текут медленно и торжественно, уходя своими истоками в седые тысячелетия, устремленные в новые тысячелетия.

Река протекает западнее города и отгорожена от него холмистой грядой. В одном месте холм расколот надвое; по этой расщелине проходит дорога к Ахуряну. Когда любители пирушек на вольном воздухе доезжают на фаэтонах до этой расщелины, перед их глазами распаивается целиком вся панорама заветной реки. Широкая долина, плавно понижаясь прямо от холма, спускается к самой реке, которая течет в пологих берегах, вровень с землей.

На другом берегу, за узкой полоской низины, начинается невысокий каменистый холм. Он недлинен и заслоняет вид только прямо перед собой. Там, где он кончается, раскину-

лась широкая, залитая солнцем долина. На ее мирной шири поблескивают серебристые извивы реки. Вдоль берегов тянутся залитые солнцем огороды. А с другого конца видно, как в отдалении громоздятся горы: впереди — пониже, за ними — повыше, дальше еще выше, потом еще и еще — целая горная страна, окутанная голубой дымкой. И чудится, будто эта голубая таинственная мгла — не пространство, а время, будто там высится сама история и смотрит на нас сквозь туман веков. Такой горной страны нет больше нигде и, кажется, что это — картина, нарисованная давным-давно на древнем пергаменте.

Люди смотрят из фаэтонов на плывущую в голубом тумане стаю горных вершин по одну сторону холма и на ясную, солнечную долину по другую сторону, потом — прямо перед собой, на холм. На его склоне раскинулось, сбегая уступами вниз, к подножию, небольшое селение. Среди темно-серых домиков виднеются гумна с золотыми снопами пшеницы, приготовленными для обмолота. На этих залитых солнцем слепящих глаза чистой золотой желтизной площадках неторопливо шагают парами красновато-желтые волы, тащат за собой молотильные доски. На них стоят босые девушки в белых повязках на голове и погоняют волов легким движением прута. Волы ходят по кругу, и молотильные доски, утыканые острыми камнями, дробят колосья, толстым слоем покрывшие землю.

У гумен тянутся к небу тополя. Их зеленые кроны и темная тень делают еще ярче и прекраснее распластанное золото гумен.

На околице, у самой реки, под густой сенью развесистых ив, едва выглядывает из зеленых ветвей водяная мельница с замшелыми, сочно-зелеными от напоенного влагой мха деревянными желобами.

На берегах, привольно раскинувшихся под ярким солнцем, деревьев почти нет. Лишь кое-где разбросаны маленькие рощицы, словно островки тени и прохлады в царстве пожелтевших трав, солнечного света и тепла.

И неторопливо погоняют извозчики лошадей, и те медленным, мерным шагом спускаются в эту радующую глаз и сердце долину.

* * *

Фаэтоны вернулись обратно в город, а мастера расстелили скатерть в густой тени одинокой ивы. Река струилась у самой скатерти, и влажная пыль кропила выглянувший на солнце край.

Для музыкантов подтащили три удобных камня, поставили перед ними водку, стопки, положили закуску, а сами расположились вокруг скатерти, прямо на траве, поджав под себя ноги. Отсутствующему мастеру Мкртичу отвели лучшее место — во главе застолья, у ствола дерева. Справа и слева от почетного места сели Онес и Каро, напротив Баграт, Саркис, Аветик и Агаси. Поставили семь стопок, разлили водку. Рядом со стопкой мастера Мкртича положили лучшие куски шашлыка и прочей снеди. Посидели молча, опустив головы. Понурившись, выслушали рыдающую мелодию. Когда последние звуки растаяли в прохладной листве, Агаси поднял свой стакан, коснулся стакана мастера Мкртича и сказал:

— Как всегда, первый тост за тебя, друг. Смерть — это очень надолго... Пусть такой же долгой будет и жизнь твоя среди людей, мастер.

Онес тоже поднял стакан:

— Всегда оставайся главным за нашим столом, брат наш дорогой. Мы рта не откроем, все тебя будем слушать — и не наслушаемся.

Каро тоже поднял стакан:

— В жизни ты был старший из нас, Мкртич. И в смерти тоже старшим ты оказался. За тебя...

Баграт тоже поднял стакан:

— Дело твоей жизни — сорок серебряных родников, мастер. Немало людей проходило мимо — и все пили из них, дети их проходили — пили из них, внуки их проходили — пили из них. Их правнуки пройдут — из них же напьются. Все уйдет, а дело твое останется, мастер.

Саркис тоже поднял стакан:

— Жизнь твоя золотым родником стала, мастер. На головной камень смерть наложила руку, на камень в основании — тоже, но золотая вода протянулась между ними, словно радуга, и связала вечной и живой дугой.

Аветик тоже поднял стакан:

— Не под силу смерти с тобой справиться, Мкртич. Ангел смерти сам с досады помер. А наши души кто же заберет?

Все коснулись своими стаканами стакана мастера и выпили. Потом Аветик взял стопку мастера и выплеснул водку в реку, и вода унесла ее.

Снова наполнили стопки.

— Братцы, — обратился Агаси к музыкантам. — Ну-ка — любимую нашего мастера.

И снова поник над своим стаканом.

В тени под деревом пахло свежей травой. Вдали, на солнце плескались в реке смуглые ребятишки. Когда музыка смолкла, из ближней рощицы донесся мечтательный призыв какой-то пичуги и сразу же оборвался: о-по-о.

А воды реки все текут и текут, не останавливаясь и не возвращаясь. Проплывет порою зеленый листик, вынырнет серебристая рыбка, сверкнет чешуей и снова уйдет в темную глубину. На другом берегу одинокое дерево развесило над солнечными струями свою тенистую сень...

Все так же молча Баграт снова наполнил стаканы. Молчание нарушил Аветик, тот самый, что всю жизнь строил мосты.

— Я ведь тоже, Мкртич джан, как и ты, цель себе в жизни поставил: двенадцать мостов. И ты это знал, и вот друзья мои знают. Одиннадцать построил, а на двенадцатый рука не поднимается... Жизнь — сладкая штука, как же мне за последний мост браться?

Все молча, сосредоточенно слушали.

— На этом берегу — жизнь. А на том? Знаю я, что ждет меня на том... Кончу мост, хочешь-не хочешь, первым по нему и пройти должен.

Он потер лоб и продолжал:

— Так уж издавна у меня заведено, сам знаешь. Когда первый мост построил, никто по нему не пошел — не решались. Взял я свою семью, усадил под мостом чай пить, а сам сел в фаэтон и проехал по мосту. Да... Одиннадцать мостов проехал, и все с улыбкой, а вот на двенадцатом смертная дрожь пробирает...

Не поднимая глаз от стакана, он продолжал:

— Ничего не поделаешь — людям нужен мост... Канал провели, на поля дороги нет. Недавно опять приходили, просят. Удивляются: отчего, мастер, строить не хочешь, что вдруг остановился? Построй уж и этот мост — и баста. Кончишь мост — честь тебе и хвала. Заслуг у тебя достаточно, денег тоже получишь немало, почет и уважение отовсюду — сиди тогда, отдыхай да радуйся, глядя на труды учеников своих.

Аветик горестно усмехнулся:

— Посмотрел я на них — и ничего не сказал. Откуда им знать, что не просто мост просят, а смерти моей в придачу! Посмотрел, посмотрел — и дал слово.

Он поднял стакан.

— Теперь, Мкртич джан, будь мне примером, чтобы со спокойным сердцем кончил я и последний свой мост!

Все снова выпили и снова отдали долю мастера Мкртича водам заветной реки.

Зурначи заиграли негромкую задумчивую мелодию, третий музыкант, тихонько отбивая такт на барабане, запел песню, которую мастера слушали еще в молодые годы, в отрочестве, в детстве...

Вдали, залитые солнцем, по-прежнему плескались в реке ребятишки.

* * *

Солнце село.

Онес взглянул вверх, туда, где долина плавно переходила в холм, и увидел в его расщелине два фаэтона; они возвращались за ним и его друзьями.

Агаси разлил по стопкам последнюю водку.

— Как всегда, последний тост за тебя, Мкртич. Кто знает, сядем ли еще раз за стол вот так, всемером. Весь свой труд и пот отдали мы миру и людям. Теперь вот-вот и уходить пора. Сегодня шесть стаканов поднялись в твою честь, а завтра, глядишь, и половины не наберется... Пока живы-здоровы — за тебя, друг, за твои сорок родников, которым жить и жить долгие годы!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Много десятилетий назад предки нынешних гюмрийцев перебрались в эти края из городов Малой Азии и, уезжая на чужбину, унесли с собой в памяти картины родных городов: армяне — Карина, греки — Смирны, турки — Стамбула. И новые места стали обживать на старый, родной лад.

Улицы в Гюмри были прямые и широкие, дома одноэтажные, из черного камня; двери и окна обведены красной каменной каймой. Каждый камень в стене тоже окаймляла тоненькая белая полоска и, казалось, что на черноту стены наброшена веселая белая сетка. С годами в поры камня въелась мелкая пыль; она смягчила резкость черного цвета, сделала его приглушеннее и тоже веселее.

Двери в домах были узкие и длинные, на один раствор. Наверху они заканчивались аркой. Точнее, это было полукруглое окно над дверью, через которое падал свет в переднюю. Перед многими домами возвышалась небольшая мощеная площадка. С улицы к ней вели две-три каменные ступеньки.

Окна имели сводчатую форму, как и двери. Снаружи их закрывали крашенные ставни, потом шли железные решетки. Рамы открывались внутрь, в комнату.

Рядом с входной дверью находились большие двухстворчатые ворота во двор, с маленькой калиткой в одной из створок. Но чаще вход в помещение был не рядом с воротами, а за ними; со двора.

Постройки в Гюмри оказались все, в общем, на одно лицо, разницы между ними почти не было. Каждый в отдельности, переселенцы сберегли в памяти свой отчий дом, а все вместе — в сущности одно и то же.

И вот там, где прежде стояло затерянное в глуши селенье, раскинулся город пришельцев, и назвали его Гюмри. Большую часть города заселили армяне, по одному кварталу имели греки и турки.

Сменялись годы и десятилетия, ушли в лучший мир переселенцы, выросли, состарились и ушли за отцами их дети, в памяти которых страна предков была уже не более чем зыбким младенческим воспоминанием. Внуки родились в новом городе, у них не было даже этих туманных воспоминаний. Это уже были коренные гюмрийцы. О стране предков они только слышали, для них это была старая-престарая история, далекая, как «Тысяча и одна ночь», никак не связанная с ними лично. А их дети и внуки не знали уж и того, что живут в кварталах, так напоминающих Карин, Смирну и Стамбул.

В городе заправляли царские чиновники, но им так никогда и не удалось проникнуть в глубины его жизни, так и не удалось окрасить ее в свой цвет — серый. Правда, на улицах стояли городские, в пригородных казармах и в крепости — войска, но это было всего-навсего кольцо, охватившее жизнь города по поверхности, извне. Внутри этого кольца Гюмри имел свои собственные краски и отстаивал их, как только мог.

На юго-восточной окраине все улицы круто обрывались, и начиналась дорога, которая тянулась между двумя длинными каменными стенами. Стены были сплошные; время от времени, довольно далеко друг от друга, в них попадались ворота, всегда запертые; иногда рядом с воротами в нише был родник. Сразу за стенами, тоже стеной стояли высокие тополя, а за ними расстилались огороды.

Дорога, извиваясь, вела к каменистому холму. На его склоне огороды и каменные ограды кончались, а дорога шла дальше по косогору, к далекому кладбищу. Снизу кладбища не было видно, косогор заслонял его своей широкой крутизной.

На этом косогоре, сейчас пустынным и безлюдным, прежде стоял турецкий квартал. Однако в первую мировую войну разбрелись кто куда его жители, потом постепенно обветшали и разрушились дома — и в городе стало кварталом меньше. Теперь на склоне холма не осталось ничего, кроме выжженной солнцем каменистой земли, поросшей низкой пожухлой травой; нигде не видно было никаких следов жилья. Пустой склон казался совсем маленьким, и трудно было даже представить, что когда-то на нем умещался целый квартал — с домами, дворами, улицами.

Турецкий квартал жил своей особой, замкнутой жизнью. Днем его тихие улицы были пустынные. Лишь изредка мелькала на них закутанная в чадру женская фигура, подходила к какой-нибудь двери и стучала в нее железной колотушкой или поворачивала в ржавом замке большой ключ. Приоткрыв дверь, женщина заходила, и дверь сразу же закрывалась снова.

Иногда из дома выходила девушка, тоже закутанная в чадру. В руках она держала гюгом — медный кувшин с длинным изогнутым горлышком. Сверху гюгом был желтый, как тусклое золото, внутри сероватый, как тусклое серебро. Бывали и густо-бронзовые гюгомы; по ним вилась арабская вязь изречений о воде, любви и жизни.

Надвинув на лоб маленькие круглые папахи, неторопливо шагали между двумя рядами домов мужчины. С одной стороны ряд домов временами прерывался, и ниже по косогору видны были тогда кровли домов на других улицах квартала, ниже их — огороды, а еще дальше — город, который начинался почти сразу за огородами, широко раскинувшись во все стороны. Дорога тянулась через огороды, потом заворачивала и вливалась в город, на первую его улицу. Там был турецкий базар. Там же стояли турецкие харчевни, чайханы и кофейни.

Как и на других рынках города, здесь с утра гудела и колыхалась разноплеменная толпа — армяне, греки, турки. Они работали в своих мастерских, торговали и торговались, пили чай и кофе, играли в нарды, и все говорили на всех трех языках Гюмри, чаще всего — на армянском. Нужен был очень наметанный глаз, чтобы отличить друг от друга армянина, грека или турка. А если и удавалось найти различия, они были мелкие, совсем пустячные. Это был один народ, и имя ему было — гюмрийские ремесленники. Мастер Мкртич был для турок «братец Мкртич», турок Рахман для армян — «Рахман джан», а щеголеватый грек Атанес для всех — «фасон Ато».

При всем том нашелся один турок — звали его Ибрагим, — который открыл кофейню не на рынке, а прямо в своем квартале. Само собой, он открыл ее только для своих единоверцев и не скрывал ни от армян, ни от греков.

— Сами знаете, братцы, — объяснял он, — в Гюмри мечети нет. А вдруг, к примеру, мулла захочет мусульман в вере наставить или надо будет с нарушителем шариата разобрататься? Неужто же в разгар базара говорить вам: братцы, выметайтесь-ка из кофейни, у нас тут особое, мусульманское дело? Вот на такой случай своя кофейня и пригодится...

Но вид при этом был у Ибрагима виноватый. И не только у него. Собеседники — армяне и греки — тоже опускали головы. Неловко им было, что ли? Или хотелось понять, в чем тут дело: живут они как братья, а все-таки надо иметь особое место для встреч, надо жить в отдельных кварталах, нельзя вступать в брак не только туркам с армянами — мусульманам с христианами, — но и грекам с армянами, а ведь и те и другие — христиане. Мало того, армяне-григориане не смеют вступить в брак даже с армянами-католиками, и наоборот.

Совестно им было, или старались они понять, отчего это турки не станут есть мясо, если оно армянского убоя, армяне в рот не возьмут сыру, если он турецкий, но и те и другие

пьют тот же кофе, едят тот же хлеб — лаваш? А вот воды выпить друг у друга брезгают, свою посуду иноверцу не дают и у него в жизни не возьмут: ни рот не хотят осквернить, ни посуду... Все это не могло не казаться им странным, и все-таки обычаи, впитанные с молоком матери, заставляли передергиваться при одной мысли о том, чтобы отведать турецкого сыру, и не мешали со спокойным сердцем есть хлеб турецкой выпечки.

Турецкий квартал тянулся вдоль ущелья и смыкался выше огородов сразу и с греческим кварталом, и с армянской частью города. Тут стояла самая большая в городе баня, и в ней опять-таки на каждом шагу человек сталкивался с той же несуразной обособленностью.

Это была обычная восточная баня, с черными каменными стенами, с двумя большими куполами — над раздевальней и купальней. Входная дверь вела прямо в раздевальню, освещенную мягким светом из небольших окошек в высоком куполе. В центре раздевальни был круглый бассейн из черного камня, с высокими краями, с красноватой каменной чашей посередине, из которой лилась в бассейн вода. Вдоль стен тянулись высокие, широкие тахты. Они окаймляли всю раздевальню и прерывались только у дверей. Перед каждой тахтой стояли деревянные столбики, от них до стен были протянуты веревки. Женщины, приходившие в баню группами или семьями, вешали на эти веревки простыни, тахта отгораживалась от остальных и превращалась в подобие отдельной комнатки. Плохого в этом, само собой, ничего нет. Плохо и несуразно другое: это была христианская раздевальня — только для армян и греков. У турок была своя раздевальня, дверь в дверь с купальней, узкая и длинная комната, которая тянулась по обе стороны от двери. В ней не было ничего, кроме двух длинных тахт. Не разделенные промежутками, голые и одинаковые, они тянулись вдоль стены из конца в конец. Свет в комнату проникал из окошек в торцовых стенах, но между христианской и мусульманской раздевальнями, по обе стороны двери, в стене было еще два низких и широких проема. Они служили не для освещения, потому что в турецкой раздевальне его и так было хоть отбавляй, и это еще больше подчеркивало голую пустоту комнаты, а мягкому и приятному полумраку армянской раздевальни добавочный свет был совсем ни к чему. Для чего все-таки предназначались эти проемы — бог весть. Когда по обе стороны стены раздевались и одевались семьи с детьми, те частенько забирались в проем — армянские ребятишки со своей тахты и турецкие — со своей, и затевали игры друг с другом. Но тут налетали матери малышей и оттаскивали каждого в свою сторону. Чуть погодя тот же ребенок, стоя на коленях на тахте и упершись локтями в проём, молча и задумчиво смотрел на ту сторону, туда, где другая мать одевала его сверстника. Смотрел и, может быть, в его детском уме уже зарождался вопрос: чем же отличаются от него те, кто стоит по другую сторону этой бессмысленной стены?

По эту сторону какая-то армянка напевала песню. А по ту сторону бабушка турецкого ребенка, раздеваясь, тихонько подпевала ей, и когда, поднапрягшись, развязывала принесенный из дому узел, чтобы достать шайку для воды, из невнятного мурлыканья вырывались те же армянские слова. Что по ту сторону, что по эту — везде были те же банные тапки, медные или оцинкованные, те же банные простыни, те же налики — деревянные башмаки для бани, тот же сладкий чай, который продавала устроившись со своим самоваром и посудой в углу большой раздевальни женщина-чайчи, и те же восточные сладости и сдоба — гата, халва, пахлава — которые женщины приносили с собой из дому точно в таких же узлах, на таких же подносах.

В самой купальне турчанки тоже имели отдельную комнату. Сразу у входа в большую купальню, по одну руку от нее находились две высокие и узкие деревянные двери, всегда плотно закрытые. За одной дверью была узкая и длинная комната — парная, другая комната, тоже узкая и длинная, была турецкой купальней.

Входя из раздевальни в большую купальню, турчанки спешили с опущенными головами к своей двери, хотя и не понимали, зачем так надо. А армянки и гречанки, которые

сидели возле бассейна или на гюбакдаше — большом круглом плоском камне — тоже ничего не понимали и тоже опускали головы. Сверху, с запотевших камней высокого купола, срывалась холодная капля и расплющивалась на розовом женском плече, но занятая своими мыслями женщина даже не чувствовала этого.

Так и жили бок о бок армяне, греки, турки — такие близкие друг другу и такие далекие...

2

По дороге, ведущей через огороды в турецкий квартал, шла женщина в чадре. День был солнечный, жаркий, и женщина явно устала.

Тонкий шелк чадры то скрывал, то снова обрисовывал при ходьбе ее красивую фигуру, и в этих движениях сквозили не только усталая грация, но и какое-то беспокойство. Порою начинало казаться, что причина совсем не в жаре и не в долгой дороге, что ее томит и давит другая, душевная тяжесть. Трудно было поверить, чтобы ее красивые крепкие ноги так притомились, даже если бы она шла хоть через весь город. Трудно было поверить, чтобы ее молодое, цветущее тело так измучила жара, да и солнце в тот день скорее ласкало, чем жгло. Женщина хотела пить и все оглядывалась по сторонам, искала родник. Это тоже говорило, что ее обжигает не солнце, а душевный жар — очень уж лихорадочно, очень уж удрученно осматривалась она по сторонам.

Наконец она увидела родник. Он был совсем обычный — труба, выходящая из ниши в стене. Женщина быстро подошла, откинула чадру и наклонилась к воде. Но едва коснулась губами блестящего металла — вода иссякла. Она вскрикнула и в ужасе отпрянула от родника.

Калитка рядом с родником распахнулась. Вышел встревоженный огородник, армянин.

— Не бойся, баджи¹, — сказал он по-турецки, увидев турчанку. — Это я перекрыл воду. Огород поливаю. Ты уж прости, баджи, где ж мне было знать, что как раз ты подойдешь. Не уходи, я мигом пушу воду.

— Не надо... — сказала турчанка и только тогда спохватилась, что стоит с открытым лицом. Она быстро опустила чадру, свела ее концы нежной белой ручкой и торопливо пошла прочь.

Огородник долго стоял как вкопанный, глядя ей вслед. Словно удар молнии, поразила его чудная красота этой женщины... В тот же вечер он пригласил знаменитого строителя родников мастера Мкртича, не торгуясь, заплатил щедро и попросил провести для огорода отдельную воду, чтобы в роднике за воротами вода текла непрерывно, днем и ночью.

3

В одном из тихих уголков турецкого квартала, на крохотной площади, которую с трех сторон окружали глухие стены домов и только с четвертой пересекала улица, в густой тени деревьев стоял родник. Это был небольшой восьмигранник из черного камня, с куполом наверху. На одну из граней была выведена труба, из нее лилась прозрачная вода. Над трубой, на плитке из красного камня, было выбито армянскими, греческими и арабскими буквами имя мастера Мкртича. На остальных семи гранях висала арабская вязь назидательных изречений.

Турчанки подходили к роднику легкой и бесшумной поступью, словно бесплотные тени из снов или ночных видений. Набирая воду, они не переговаривались, были молчаливы и сосредоточены. И сама вода родника струилась беззвучно и безмятежно, словно стараясь не нарушить разлитого повсюду покоя.

¹ Сестра (тюрк.).

В конце улицы появилась турчанка. Теперь она казалась вконец истомленной усталостью и жаждой. Увидела родник, направилась к нему. Женщины почтительно расступились, одна из них протянула кувшин. Турчанка отказалась. Потянулась губами к трубе, но вдруг с криком отпрянула назад.

— Что? Что случилось? — переполошились вокруг. — Что случилось, ханум?

Женщина стояла без кровинки в лице, ее била дрожь. Она не отрываясь смотрела на родниковую струю, по-прежнему неторопливую и незамутненную.

— В чем дело, ханум? — повторила пожилая турчанка, стоявшая без кувшина. В тоне ее и во взгляде было не столько любопытство, сколько настойчивое требование.

— Ничего, старшая баджи... Слишком задумалась, оттого... Взглянула на имя мастера — и почудилось, что оттуда мужчина смотрит...

Она с усилием растянула губы в улыбке.

— Бывает, — сказала пожилая. — Может, тебе нездоровится?

На этот раз турчанка улыбнулась без усилий, но улыбка была невеселая.

— Сердце у меня больное, старшая баджи.

— Оттого и пугаешься легко, — объяснила пожилая. — Ты, главное, меньше задумывайся. У кого с сердцем неладно, тому задумываться вредно, так говорит шариат.

— Знаю... — со вздохом отозвалась турчанка, поблагодарила и ушла.

Все смотрели ей вслед.

— Кто она? — спросила одна из женщин.

— Всех наших наперечет знаем, а эту — нет, — подтвердила другая.

— Она три дня как приехала, — ответила пожилая. — Иду я из бани, у кофейни Ибрагима ее встретила. Спрашивает: нельзя ли в нашем околотке квартиру нанять? Мне сразу дом Хабибы вспомнился.

— Дом Хабибы?! — с ужасом воскликнули женщины.

— Что греха таить — да. Пошла к мулле своему. «Мулла, — говорю, — сколько лет двери Хабибы закрыты? Сколько лет ее ожидаем?» — «Десять лет», — говорит. — «Вот видишь... В Мекку и обратно за год можно обернуться. Стало быть, померла она давно. Не дело это, чтобы двери дома столько лет не открывались. Женщины болтают, будто Хабиба вернулась и больше года, мол, по дому своему бродит. Будто там по ночам голоса слышны. Открыть надо эти двери, поселить там кого-нибудь».

— У Хабибы?!

— Дайте кончить, ну! «Деньги, — говорю, — нищим раздадим или, того лучше, в Мекку на них пошлем кого-нибудь. И свою душу спасет и — аллах велик! — может, и Хабибу найдет, обратно приведет»... Мулла согласился.

— Согласился?!

— Да. Эта женщина там живет.

Кувшин выпал из рук у одной турчанки, и вода полилась на землю. Все стояли в оцепенении. Одна только еле слышно сказала:

— Аллах накажет... как можно... Узнает бедняжка, в каком доме живет — умрет на месте. Да еще пугливая такая...

— Знает она. Рассмеялась — только и всего.

— Рассмеялась? — не веря своим ушам, переспросили женщины.

— Да. Пошутила даже. Верно, — говорит, — вернулась Хабиба. Я и есть Хабиба. Аллах услышал мои молитвы.

Все облегченно перевели дух.

— Вот это женщина! Джигит! — воскликнула одна.

— Сколько лет ей, интересно...

— Лет тридцать пять, пожалуй, — предположила пожилая.

- А звать как?
- Тоже Хабиба.

4

Дом Хабибы был совсем не похож на другие постройки Гюмри. Прежде всего, он был не из черного камня, а из красного кирпича. Да и в остальном тоже был на свой манер: стены глухие, без окон; в одной стене — маленькие, словно раз навсегда запертые ворота. Впечатление было такое, что они никогда не открывались, да и не откроются. А если и откроются, за ними окажется не вход, а снова глухая стена.

Улица, на которой стоял дом Хабибы, была очень короткая и всегда безлюдная, потому что на нее больше не выходила ни одна калитка. Там, где кончалась эта улица и начинались две другие, тоже не было ни калиток, ни ворот.

Если мальчишкам случалось проходить по этой улице, они иногда, потехи ради, стучали в колотушку у ворот Хабибы. Раздавался гулкий, глухой звук, как от тяжелого камня, брошенного в стоячую, тинистую воду. Мальчишек это пугало, и второй раз они к колотушке уже не прикасались.

Не только дети, но и взрослые, как и прежде, обходили дом стороной. То, что там теперь живет другая, молодая Хабиба, ничего не меняло. Она вела такую же замкнутую, окруженную тайной жизнь, что и старая. Никто не знал, когда она бывает дома, чем занимается, когда уходит и куда.

Правда, все это уже не пугало людей, и, конечно, не страх держал их в отдалении. Сейчас жители квартала держались в стороне только потому, что никак не могли подступиться к владелице дома. Женщины изнывали от любопытства (о мужчинах и говорить не приходится!), но так и не сумели ничего разузнать и оставили бесплодные попытки. То немного, что им стало все-таки известно, относилось к дому, а не к новой его хозяйке. Старая Хабиба была, оказывается, женщина с деньгами и оставила немало добра: дорогую утварь, ковры, украшения, одежду... Кто она и когда обосновалась в Гюмри, никто толком не знал. Издавна ходили слухи, будто Хабиба — вдова богатого индуса, и аллах один ведает, из каких дальних далей и почему она приехала доживать свои дни именно в Гюмри. Мулла пересказал молодой Хабибе эти, ставшие уже почти легендой, слухи, и той они очень понравились. Она купила дом со всей утварью и убранством, из чего стало ясно, что и молодая Хабиба женщина с деньгами, и немалыми.

Только и всего, ничего больше.

И снова — глухая стена, и снова — наглухо запертые ворота.

Но вот на улицу быстрым шагом вошел юноша. Хотя он и был в турецкой папахе, а не в картузе, внимательный глаз все-таки узнал бы в нем армянина. Войдя на улицу, он приостановился и с деланным равнодушием огляделся по сторонам. Убедившись, что за ним не следят и никто его не видит, юноша метнулся к воротам Хабибы и постучал четыре раза. Ворота приоткрылись. Он скользнул внутрь, и ворота сразу же закрылись.

5

Шагнув за ворота, юноша оказался в кромешной темноте. Ворота были наглухо закрыты; несколько солнечных лучиков все-таки пробивались внутрь сквозь незаметные щелочки в воротах и светились, словно тонкие золотые нити, развешанные в темноте, но они не освещали ничего.

— Как ты нашел дом, милый? — боязливым шепотом спросила турчанка. Она говорила по-армянски, и говорила так же хорошо, как и по-турецки.

— С закрытыми глазами нашел, желанная, — любовь твоя меня привела; с закрытыми ушами нашел, желанная, — речь твоя сладкая меня привела.

— Нет, нет, ты скажи... как нашел?

— Как же было не найти? Не ты ли сама устами сахарными все мне объяснила? Сказала ведь, что дом этот глухой, как наша тайна? Мне этого хватило.

Внезапно раздался сильный стук в ворота. Турчанка потрясенно вскрикнула и прижалась к юноше. Он крепко обнял ее, и оба замерли, затаив дыхание. Но это оказались ребята: слышно было, как, напуганные собственным стуком, они удирали со всех ног, окликающая друг друга.

— Видишь, радость моя, зря ты испугалась.

— Страшно мне, милый. Когда шла сюда, пить захотелось, наклонилась к роднику — вода иссякла! Божий знак... Грех мы затеяли...

— Забудь, радость моя, пустяки все это!

Она ничего не ответила.

— Войдем в дом, радость моя, — весело воскликнул юноша, — посмотрим, где цвести нашей любви.

Турчанка снова ничего не ответила.

— Пойдем... — повторил он.

— Не надо, милый...

И турчанка с мольбой сжала его руку.

— Не надо, милый... — повторила она. — Не надо входить... Боязно... Быть беде...

— Какая беда?! — воскликнул юноша. — Я с тобой, я твой. Кто посмеет пальцем пошевелить? Пойдем!

— Я раньше только людей боялась, теперь и бога боюсь... Где слыхано, чтоб мужняя жена любовника заводила...

Вместо ответа юноша подхватил ее на руки, прижал к себе и попытался наощупь найти дверь в комнату. Дважды он наткнулся на ворота. Нет, это не то... А стены, которые он ощупывал, были сырые и непроницаемо глухие.

— Где же дверь-то?

Женщина, растерянная и испуганная, сделала попытку высвободиться из его объятий.

— Где же дверь, радость моя?

— Не знаю... не спрашивай...

Наконец, на противоположной стене юноша нащупал железную ручку, дернул ее — и замер от неожиданности: там, где он рассчитывал увидеть комнату, оказался сад.

Перед ними был маленький четырехугольный дворик. Вдоль стен тянулись выложенные белым камнем дорожки. Между ними, почти от самой кромки дорожек, росли невысокие густые деревья. Их ветви сплелись так тесно, что над всем двором был как бы натянут плотный зеленый шатер. Опавшие листья десять лет никто не убирал; они выцвели, стали одного цвета с землей и покрывали ее толстым мягким ковром. Листья лежали кое-где и на белых камнях дорожек — там, где деревья нависали над ними и отбрасывали на них свою тень. Но там ветви были негусты, листьев немного, и на белые плиты падали солнечные блики; они еще больше оттеняли зеленоватый полумрак в самом саду.

Посреди сада, вровень с землей, голубел четырехугольный водоем. Из красноватой каменной чаши в его центре обильно лилась вода и стекала в бассейн. Видно, воду пустили недавно: в бассейне она была прозрачная, без всяких следов ряски. Вокруг водоема угадывались следы цветочных клумб, тоже покрытые опавшими листьями.

Жилые помещения находились в противоположном конце сада, за стеной, сложенной из веселого оранжевого кирпича. Посреди стены, в четырехугольной нише виднелась дверь; к ней вело несколько каменных ступенек. По одну сторону от входа было три обыч-

ных окна с белыми рамами, а по другую — почти всю стену занимало одно четырехугольное окно с цветными стеклами разных форм и оттенков.

Остальные стены вокруг двора были тоже из оранжевого кирпича. У боковых стен располагались хозяйственные пристройки. В стене, за которой проходила улица, по обе стороны ворот было по три выбеленные ниши с остроконечными сводами. В нишах стояли шесть больших бронзовых кувшинов разной формы, с выбитыми на металле арабскими письменами.

— Хоть весь город на ноги встанет — в жизни нас не найдут! — воскликнул юноша. — Ничего не бойся, радость моя!

Руки турчанки обвились вокруг его шеи. Не выпуская из объятий своей драгоценной ноши, юноша вошел в дом.

6

Пол устлали ковры. Три стены тоже были до половины своей высоты сплошь покрыты коврами, а выше начиналась и тянулась до самого потолка красивая тонкая роспись, которая прерывалась только там, где в стенах были стрельчатые ниши. Как и в садовых нишах, в них стояли кувшины, но уже поменьше, и не только бронзовые, но и глиняные и серебряные.

Четвертую стену целиком занимала окно с мозаикой из разноцветных стекол: круги и кружки, звездочки, солнца, цветы — тысячи фигур из умело подобранных осколков разных цветов и оттенков. Окно горело таким многоцветьем, что казалось дивной восточной миниатюрой, а пылающие стекла создавали ощущение скорее ярких красок живописца, чем солнечного света, проникающего сквозь стекла.

Потолок украшали по углам выпуклые лепные пирамидки со вставленными в них кусочками зеркала. Такими же зеркальными осколками была выложена и середина потолка; из центра зеркальной мозаики свисал большой бронзовый светильник.

Краски и узоры окна, ковров, настенной росписи преломлялись в зеркальцах потолка самыми причудливыми сочетаниями цветов и форм.

В глубине комнаты, на ковре, опершись на вышитую шелковую подушку, полулежал юноша и задумчиво следил за хороводом красок в зеркальной россыпи потолка. Рядом с ним, низко опустив голову, пряча рдеющее от стыда и оттого еще более прекрасное лицо, сидела турчанка. С потолка неподвижно свисал светильник, который не зажигался уже десять лет. На полу, перед потупленным взором женщины, расстилались загадочные узоры ковра.

Юноша перевел взгляд на окно, и многоцветные огоньки заплясали в его зрачках. Не глядя на женщину, он накрыл ее руку своей и тихо сказал:

— Я очищу сад от мертвых листьев, жизнь моя, — пусть радостным будет дом нашей любви. Я снова разобью цветники, жизнь моя, — пусть в цветах утопает дом нашей любви. Я обрежу лишние ветки — пусть солнце улыбается в доме нашей любви...

— Не надо, милый. Вдруг недобрый человек тебя с соседней крыши заметит! Оставь как есть.

— Я позову искусного садовника, пусть украсит сад, жизнь моя. Пусть любовь наша цветет среди цветов!

— Не надо, милый. Ты и так уж сильно потратился. К чему? Я на десять лет старше, ты молодой, скоро меня разлюбишь... И так много сделал, хватит.

Юноша закрыл ей рот, запрещая продолжать, обнял и, глядя на белоснежный лоб, прошептал:

— Ты на десять небес выше меня, любимая! Ты как роза, раскрывшая десять лепестков... Ты как горлица, принесшая сразу десять весен...

Казалось, что юноша — зрелый, уверенный мужчина, а женщина в полном расцвете зрелой красоты — маленькая робкая девочка. Они долго не размыкали объятий. Вдруг женщина вырвалась из кольца его рук, слабо вскрикнула и схватилась за сердце.

— Быть беде, милый... сердце ноет. Недолго нам любить друг друга... Не смеет женщина быть такой счастливой...

— Не говори так! Не говори...

— Ты молодой, ты не понимаешь... Бедой это кончится, бедой...

Юноша помрачнел. Он откинул со лба непокорные кудри, перевел взгляд на темный, столько лет не горевший светильник, и тихо сказал:

— Отчего наша любовь должна прятаться, словно загнанная газель? Отчего мы должны стыдиться людей и всего белого света? Почему это так? Почему?!

Глаза у женщины налились слезами. Юноша продолжал:

— С грязью смешают женщину, если посмеет от мужа уйти. С грязью смешают того, кто на ней женится. Мы не смеем принадлежать друг другу, наша любовь — воровство...

— Почему это так? Почему?!

7

Издалека донесся смягченный расстоянием колокольный звон. Женщина встрепенулась.

— Иди, милый, пора. Вот-вот мужчины по домам пойдут с базара. Никто не должен видеть, что ты вышел из этого дома, что ты идешь из этого квартала. Иди по левой улице, она всегда пустая... спустишь к огородам. В той стороне тебя не увидят.

— Успею, сердце мое, пойду...

— Нет-нет, прямо сейчас иди, милый... Мне ведь тоже пора, поздно уже.

Юноша встал, надел папаху.

— Когда еще придешь, сердце мое? — спросил он.

— Опять в воскресенье.

— Разве я доживу до воскресенья, жестокая! Хоть в пятницу приходи!

— В пятницу? Это в турецкое-то воскресенье? Все мужчины в этот день — в своем квартале, весь квартал — на улице.

— Ну, хоть в субботу...

— Нет, милый, — вздохнула женщина. — Часто ходить нельзя, дома заметят. Будем часто встречаться — скоро разлучат. У меня только по воскресеньям есть предлог из дому уходить.

Опустив голову, юноша вышел вместе с турчанкой. В темноте у ворот он поцеловал ее и отодвинул щеколду. Турчанка выглянула за ворота, осмотрелась.

— Никого нет... Иди.

Юноша ушел. Переждав с четверть часа, женщина тоже вышла, заперла ворота большим ключом и по той же безлюдной улице спустилась к дороге, тянувшейся через огороды.

Ее тоже никто не заметил.

8

На улицах города догорала вечерняя заря.

На камнях, поставленных у дверей вместо скамеек, сидели пожилые гюмрийки и вязали носки. Пальцы их проворно двигались сами по себе, а женщины смотрели на прохожих или просто на улицу.

Улицы, которые тянулись с севера на юг, уже были окутаны сумерками. Только на перекрестках золотились светлые треугольники, и по ним было видно, что пересекающие их улицы еще освещены последними лучами уходящего солнца.

Какими-то особенно яркими, светлыми казались они в надвигающейся темноте. Как упорно цеплялись покрасневшие от натуги лучи за стекла домов, за стены, за вершины тополей...

В таинственном пламени заката и женщины казались призрачными и таинственными; чудилось, будто стоит закату отгореть — и они тоже исчезнут, растают в воздухе, а у дверей останутся одни пустые камни.

Спицы, согретые теплом женских рук, двигались быстро, носки удлинялись на глазах. Временами по улице проносилось дуновение легкого, незаметного для человека ветерка. Тогда спицы остывали, становились вроде даже тверже и медлительнее.

Рядом с бабушками сидели ребятишки — притихшие, послушные, подавленные таинством заката.

Закат потухал, и женщины, теперь уже целиком отдавшись работе, чтобы кончить ее засветло, механически шевелили губами, рассказывая ребятишкам старинные истории, предания, разные случаи из жизни знаменитых гюмрийцев.

Рассказывали о гюмрийце, который, когда строил дом, заложил в четыре угла основания топор, бутылку водки, обручальное кольцо и крест. Рассказывали и о другом гюмрийце, который сорок лет хранил верность умершей возлюбленной и так и умер с этой любовью. И еще об одном гюмрийце, который всю жизнь носил за плечами приготовленный для себя саван. И еще об одном, который смолоду заказал себе могильную плиту и велел выбить на ней все, что положено, кроме даты смерти. И о гюмрийце, который укрепил крест на самой высокой в городе церкви, за что и был прозван Праведным. И о гюмрийце, который не раз бывал при смерти и всякий раз кое-как натягивал одежду, плелся в кабак, качаясь, как былинка под ветром, наливался водкой по самые уши, возвращался домой, все так же качаясь — и наутро вставал здоровехонек, будто и не болел. И о гюмрийце, у которого брата сослали в Сибирь, и он пять лет подряд каждый вечер накрывал богатый стол, зажигал все огни в доме, шел на вокзал встречать брата — и возвращался один. И о гюмрийце, который славился повсюду как редкий каменщик. И вот в Гюмри приехал сам царь, увидел эту невиданную кладку, поразился и пожелал увидеть мастера. Но когда пришли за мастером, тот был пьян в стельку и спал непробудным сном. Царь уехал, счастье так и прошло мимо, не коснувшись мастера...

Тут рассказ обрывался: гюмрийки замечали идущих домой мужей или сыновей и вставали им навстречу. Мужчины подходили, здоровались, женщины почтительно отвечали на приветствие, заходили следом за ними в дом и запирали двери.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Огородник, в роднике которого вода теперь текла непрерывно, днем и ночью, сидел у ворот своего огорода и смотрел на дорогу. Был погожий воскресный денек, и крестьяне, кто на арбах, кто пешком, тянулись из окрестных сел в город, на базар. А из города в сторону кладбища шли то кучками, то большими группами женщины в черном.

Огородник вроде бы и смотрел на всех, кто проходил мимо, но видно было, что они мало его интересуют и совсем не занимают его мысли.

Почему он остался здесь в воскресенье? Почему не пошел в город, где у дверей своих лавок и в кофейнях собирались и вели неторопливые беседы знакомые ремесленники? Он мог пойти и в городской сад, где по воскресеньям бывал почти весь город. Он мог отправиться на берег Ахуряна, где в тени деревьев устраивали веселые пирушки его сверстники и купались красивые подростки. Он мог, в конце концов, пойти к себе домой — там ждала его семья. Но он никуда не пошел, и на лице у него была грусть. Видно, нелегкие думы одолевали этого человека, и ему хотелось побыть одному.

Со стороны города показалась похоронная процессия. Стиснутая с обеих сторон высокими стенами огородов, толпа двигалась медленно. Впереди плыл богатый гроб. Во главе процессии торжественно выступали целых семь священников в шитых золотом желтых и красных ризах, следом размахивали кадилами два дьячка, за ними шел многочисленный причт.

Огородник стал приглядываться к процессии, стараясь сообразить, кто бы мог быть этот богатый покойник. И когда понял — не только не встал, как положено, но даже не снял картуз. Протоиерей, певший псалом вместе с остальными священниками, поравнявшись с огородником, гневно выкатил на него глаза и повысил голос до крика, дьячок, проходя мимо, угрожающе махнул кадилом прямо ему в лицо. На огородника все это не произвело ни малейшего впечатления. А когда с ним поравнялся сам покойник, огородник громко зевнул и сказал: «Слава богу», как принято говорить, когда зеваешь.

За гробом шли с платочками у глаз дамы под черными вуалями и в черных перчатках до локтей, шли важные господа в цилиндрах и при галстуках. За ними шли приказчики и вообще публика попроще. Позади всех брели нищие, каждый с сыромятной сумой за плечами. За процессией двигались в два ряда многочисленные фаэтоны.

Когда нищие прошли мимо, и с огородником поравнялась первая пара фаэтонов, он встал и окликнул нищих:

— Мелкон! Аветис! Папаша Аракел!

Старик и двое калек обернулись.

— Вам, вам говорю. Тех двоих, что перед вами, тоже позовите. Вернитесь, дело есть...

Нищие подошли и поздоровались.

— И не стыдно вам, братцы, за его гробом идти?

— Что поделаешь, братец Еранос, — стал оправдываться молодой парень с изрытым оспой лицом, слепой на оба глаза. — В дни радости про нас не вспоминают, может, хоть в день горя вспомнят.

— Молод ты еще, жизни не знаешь, — усмехнулся огородник. — Ну вот что, братцы: сегодня вы мои гости. Заходите в огород, рвите, что душа пожелает. У кого сума не полная будет — не выпущу.

— Бог тебе воздаст, сынок, — начал благословлять его старик. — Долгой жизни тебе и жене твоей, живите неразлучно до самой смерти...

Огородник тяжело вздохнул.

— Не говори так, отец. И ты, сестрица, не говори так. Ваш голос праведный до бога скорей дойдет, попросите, чтоб сбылась моя заветная мечта. Больше мне ничего в жизни не надо... Ну, давайте, заходите в огород.

Нищие вошли, а Еранос так и остался стоять за воротами, опустив голову, во власти самому не ясных мыслей и чувств. Желтая дорожная пыль была вся испещрена отпечатками обуви и лошадиных копыт. И вдруг Еранос увидел: по этой пыли навстречу ему легко и быстро идут маленькие женские ноги. Еранос узнал эти зеленые туфельки! Он вздрогнул и поднял голову.

Это была турчанка.

Он быстро загородил ей дорогу.

— Баджи!..

Турчанка, на сей раз наглухо закутанная в чадру, резко остановилась, потом так же резко, быстрым и оскорбленным движением, прошла дальше. Еранос побрел назад к воротам и рухнул на табуретку.

Немного погодя отворилась калитка. Из огорода вышли нищие.

— Я вам что говорил? Говорил, чтобы сумы с верхом были, или не говорил?

— Говорил, братец Еранос. Да ведь и наша совесть молчать не должна. Спасибо тебе, мы и так набрали немало. Дай бог, чтобы...

— И вам спасибо, и доброго пути. А бог... он, видно, совсем от меня отвернулся... не помогут ваши молитвы... не трудитесь...

Нищие удивленно посмотрели на него и медленно пошли по дороге назад в город.

2

По одной из рыночных улиц, мимо запертых в воскресный день лавок, шел серьезный и сосредоточенный мастер Мкртич. Высокого роста, в архалуке, в сдвинутом на затылок суконном картузе, открывавшем высокий лоб, он смотрел куда-то вдаль, поверх людей, словно видел нечто такое, что дано видеть ему одному и никому больше.

Люди, кучками стоявшие возле лавок, прерывали разговор на полуслове, стаскивали с голов картузы, почтительно приветствуя его, и только потом, когда он уже проходил дальше, медленно надевали снова. Мастер, не поворачивая головы, отвечал еле заметным кивком.

До вечера было еще далеко, солнце припекало, лоб мастера Мкртича покрылся бисеринками пота. Он остановился, откинул полу архалука, сунул руку за пояс, вынул свисавший с него и почти касавшийся земли большой ярко-красный платок в белую крапинку, обтер лицо и снова заткнул платок за пояс. Потом вынул из кармана чубук и кисет, развязал кисет и засунул головку трубки в табак.

В кофейне, на другой стороне улицы, следили за каждым движением мастера. Он набил чубук табаком, примял его большим пальцем и сунул трубку в рот. Сразу же из кофейни выскочил парень лет двадцати пяти, еще на той стороне чиркнул спичкой и, перебежав улицу, подскочил к мастеру.

Мастер Мкртич не обратил на него внимания. Из того же кисета вынул кремень и огниво, вынул трут, положил на кремень и ударил сталью об камень. Когда конец трута начал тлеть, мастер положил его на табак и глубоко затаился, со свистом втянув в себя воздух.

Табак задымился. В ту же секунду догорела, обжигая пальцы, спичка, в руках у парня. Не подавая виду, что ему больно, тот спокойно отбросил спичку и продолжал стоять рядом с мастером.

— Ты чей? — преувеличенно строго спросил мастер, когда раскурил трубку.

— Ювелира Вагинака сын.

— Варос?

— К твоим услугам.

— Что в кофейне делал?

Юноша молчал.

— И не стыдно тебе? Срам какой — отцово добро проматывать! Того и гляди, по миру пойдет бедняга по твоей милости. Не хватит по кофейням да кабакам шляться?

— Дядюшка, — попробовал было оправдаться Варос, — в кабаках я отродясь не бывал, а в кофейню по делу зашел. Сидел у дверей, глядел на дорогу — друга поджидаю.

— Молчи! — мастер даже вынул трубку изо рта. — Лоботряс! Жаль отца твоего, не такого бы сына ему иметь.

Варос опустил голову.

В кофейне стояла тишина.

— Какому ремеслу обучен?

— Никакому, дядюшка...

— Хорош! Руки боишься натрудить тем же ювелирным делом?

Варос стоял с видом полной покорности, не произнося ни слова.

— Тебя бы к кузнецу Багдасару отправить, пусть бы все кости тебе переломал. И ремеслу бы цену узнал и деньгам... Прочь с глаз моих, бездельник!

И мастер Мкртич пошел дальше.

Когда он в гневе потрянул головой, серебряная крышечка трубки захлопнулась. Мастер только сейчас заметил это. Он открыл ее, взял небольшой стерженек, свисавший с трубки на короткой цепочке, и начал помешивать табак. Когда трубка снова разгорелась, мастер свернул на дорогу к огородам.

3

Насколько глухой и тесной была стиснутая стенами оград дорога через огороды, настолько же широко и привольно раскинулись они сами. Войдя через ворота в любой огород, человек сразу же попадал в совершенно другой мир. Здесь не было густой желтой пыли, не было высоких стен, которые словно обрубали бескрайнюю лазурь неба. Куда ни кинь взгляд, глаз видел только зеленое раздолье огородов; вдали, очень далеко, они сливались с долиной, а она тянулась уже до самого горизонта. Огороды отделяли друг от друга только полосы невспаханной земли; они же служили дорогой, по которой на тележках, запряженных осликами, вывозили с огородов урожай. По обе стороны межевых полосок стояли кучками развесистые ивы и высокие тополя. Те же деревья росли то там, то тут и на огородах. Посреди каждого огорода виднелся небольшой глинобитный домик, тоже с трех сторон окруженный деревьями. За ним обязательно стояла тележка, рядом пощипывал травку серый ослик. Между двух рядов деревьев журчала в оросительной канавке вода и переходила на соседние огороды.

Там, где кончались огороды, начиналась целина, нераспаханная равнина. Туда свозили городской мусор. Даже издали было видно, как поблескивает на солнце битое стекло. Пройдет несколько лет, и на унавоженной почве свалки вырастут новые огороды и новые деревья, а мусорщикам придется ездить еще дальше.

Огороды были защищены стеной только с одной стороны, вдоль дороги, ведущей из окрестных сел в город, чтобы путники, главным образом крестьяне, не хозяйничали на грядках.

Вот и сейчас ехали по дороге на телегах крестьяне, возвращались домой с базара. До вечера далеко, и они, конечно, доберутся до своих сел засветло.

Вот один из проезжих крестьян соскочил с телеги, подбежал к роднику в стене, сделал несколько торопливых, по-крестьянски больших глотков, обтер мокрые усы рукавом домо-тканой одежды и кинулся вдогонку за своей телегой.

Когда последняя телега исчезла за поворотами огороженной дороги, со стороны города показался мастер Мкртич. Еще издали он увидел пустую табуретку у ворот Ераноса, поднял ее, внес внутрь, поставил у стены и направился в глубь огорода, к домику.

— Добрый день, Еранос.

— Доброго здоровья, мастер Мкртич!

Обрадованный неожиданным посещением, огородник быстро вышел из домика с ножом в одной руке и черенком лопаты в другой.

— Вот не чаял такой радости! Милости прошу, добро пожаловать.

— Ты делай, делай свое дело, — сказал мастер, видя, что Еранос отложил в сторону нож и лопату.

— Самое важное дело — гостю услужить, мастер джан.

Мастер сел на тахту возле домика и снял картуз. У него были густые черные волосы.

— Каким чудом вспомнил обо мне, мастер джан? Садись, садись поудобнее. Сейчас подушки принесу.

— Не надо, не утруждай себя. Ну и пыль на дороге, сил нет...

Мастер снял обувь, вытряхнул пыль и песок и снова надел.

— Ты что там затеваешь, Еранос?

— Мастер джан, шашлык хочу сделать.

— Не надо, спасибо.

— Мастер, дорогой, не перечь. В кои-то веки зашел ко мне...

— Если водка есть, принеси. А больше ничего не надо.

— Водка — само собой. А закуска как же?

— Закуска — на грядках.

Еранос вынес из домика глиняный кувшинчик с водкой и глиняные стаканчики, нарвал с грядок огурцов и помидоров.

— Еще пару стручков перцу горького прихвати.

— Сию минуту, мастер.

Пока Еранос ходил за перцем, мастер Мкртич взял нож, которым тот обтачивал черенки лопаты, и занялся огурцами и помидорами. Срезал с огурцов кожуру, уложил рядками, потом нарезал на ней огурцы и помидоры.

— Как нынче фасоль уродилась? — спросил он подошедшего Ераноса.

— На славу, мастер джан.

И огородник положил рядом с нарезанными овощами тонкие стручки зеленого перца.

— Ей-богу, зря не даешь шашлык сделать.

— Садись, садись. Слово один раз говорится.

Еранос улыбнулся.

— Значит, и про подушки не говорить?

— Не надо.

Мастер взял стручок перца и разломил пополам. Стручок развалился с хрустом, ноздри резанула острая горечь.

— Хор-о-ош у тебя перец...

— Спасибо на добром слове. У меня земля как раз под перец и фасоль.

Еранос сел, разлил водку и поднял свой стаканчик.

— Ну, мастер джан, добро пожаловать. Твое здоровье. Много я о тебе слышал — и все хорошее, да только знаком с тобой не был. А познакомился на прошлой неделе — вижу, ты еще лучше, чем говорят. Я счастливый человек, что ты не ушел навсегда, когда провел воду,

не забыл меня, а вспомнил и зашел. Теперь я одного хочу: чтоб у нашей дружбы век был не короткий, как у этой водки (выпил — и нет ее), а долгий, как у того родника, что ты провел. Твое здоровье, мастер, дай бог тебе тысячу лет и что ни год — тысячу благ.

Еранос одним духом выпил водку и закусил ломтиком огурца.

— Мне, Еранос джан, — начал мастер Мкртич, подняв свою стопку, — не всякий человек по душе. Очень уж должен быть хороший, чтоб я с ним дружбу водил. Но, правду говоря, в тот день, когда ты меня позвал: проведи, мол, воду для огорода, чтоб родник тек непрерывно, днем и ночью, — ты мне по душе пришелся. Сколько лет тебе?

— Тридцать девять.

— Я думал, от силы лет тридцать пять. Ну да это дела не меняет, я все равно на шесть лет старше, и тебе на меня обижаться не след. А сказать хочу вот что: одно мне в тебе не понравилось — очень уж ты разлетелся, лишку мне переплатил. Я-то возьму, руки не заболят, а только сорить деньгами не годится. «Пируешь — деньги тратить не ленись, торгуешь — торговаться не ленись» — оно не зря так говорится.

Теперь, если, по милости божьей, ты такой человек, каким мне показался, мастер Мкртич — твой слуга. А окажешься вертопрахом — бог с тобой и бог со мной. Твое здоровье!

Мастер выпил водку, взял стручок горького перца, обмакнул в соль и, не моргнув глазом, разжевал и проглотил. Просторы полей и огородов были еще залиты солнцем, но на яркие полосы домотканого покрывала, посланного на тахте, уже напозла и притушила их краски тень от стены.

Еранос снова наполнил стопки.

— Позволь, мастер джан, я расскажу, почему вдруг отдельную воду провел для огорода. Узнаешь — не станешь меня в мотовстве упрекать. Это я вроде как жертву принес. А на такое дело, сам знаешь, скупиться — грех.

Мастер Мкртич вынул из-за пояса чубук, вытащил из кармана кисет, положил рядом с собой и приготовился слушать.

— Однажды днем, — начал Еранос, — вижу я, что надо салат полить. Ну, сам знаешь, мы, огородники, из ручья только картофель поливаем, фасоль там или тыкву — овощи, словом. А салату и вообще столовой зелени, если хочешь, чтоб вкус в ней был, питьевая вода нужна. Одним словом, пошел перекрыть воду, пустить в огород. Только перекрыл — слышу вскрик за воротами. Выскочил, гляжу: турчанка какая-то. В лице ни кровинки, глаз от иссохшего родника отвести не может... Ей ведь, бог знает, что могло в голову прийти! Сам знаешь, какие турки суеверные. Может, подумала, что родник по божьей воле на глазах у нее иссяк. Бог, мол, на нее разгневался. Тут мне не по себе стало. Воду человек закрыл, а она думает — бог. А кто во всем виноват? — Я...

Мастер неторопливо набивал трубку, но на этих словах Ераноса прервал свое занятие.

— Неверно говоришь! Воду человек закрывает, но делает это по божьей воле. Может, в эту минуту сам бог направил твою руку.

— Эх, мастер джан, мы ведь люди грешные. Пока бог нашу руку один раз направит, дьявол — десять раз успеет. Может, как раз сатана все и подстроил, чтобы бедную женщину напугать.

Мастер неторопливо высекал огонь.

— Я и подумал, — продолжал Еранос, — пусть лучше мой родник течет круглые сутки, пусть грешные руки человеческие его не касаются. Вода — божий дар. Если бог не захочет, чтоб человек напился, пусть явит чудо и сам остановит воду.

Мастер глубоко затянулся, медленно выдохнул дым и надолго задумался. Еранос не сводил с него глаз.

— Возьми стакан, Еранос, — сказал наконец мастер. — Этот тост за твое здоровье. Пусть бог зачтет тебе добрые дела, а что не так — пусть забудет. Долгих лет тебе, многих благ. А замысел твой мне, правду говоря, не по душе. Дай бог, чтоб эта ошибка была у тебя последняя. Я двадцать лет родники строю, двадцать родников поставил, но ни разу не видел, чтобы бог сам, собственной рукой воду остановил. То, что ты говоришь, — вроде как проверка богу получается! А бог-то через человека творит свою волю, его руками. Верно, дьявол тоже через человека зло творит, но и тут — перст божий, по божьей воле это делается. Так что, когда ты воду остановил — это божье знамение было. Бог не хотел, чтобы та женщина коснулась воды. Отпусти, господи, и ее грехи, и твои, и мои, и всего нашего грешного мира... Твое здоровье!

Мастер выпил, закусил горьким перцем и снова глубоко затянулся.

— Спасибо тебе, мастер, — отозвался Еранос. — И что уму-разуму научил — спасибо, и что выпил за мое здоровье — спасибо. Переубедил ты меня. Твоя правда, я ошибся. Но родник — угодное богу дело. Если мой родник раньше двенадцать часов тек, то теперь — двадцать четыре течет. Если раньше двенадцать человек он от жажды спасал, то теперь — двадцать четыре. Если раньше двенадцать голосов меня перед богом добром поминали, то теперь — двадцать четыре. Дай бог, чтоб их молитвами простился мне и этот грех.

— Аминь, — отозвался мастер.

Еранос опорожнил свой стаканчик и закусил долькой помидора. Три следующие стопки выпили молча: каждый думал о своем. Время шло, солнце уже клонилось к закату.

— Семья у тебя большая, Еранос?

— Два брата, маленькие еще, жена, дочка шести лет. Милости просим как-нибудь к нашему очагу, мастер. А у тебя кто, храни их бог?

— Мать, жена, сынишка восьмилетний. Была, дочка, умерла... теперь ей бы уж восемнадцать было. И у меня семья небольшая.

— Дай бог, чтобы стала больше.

— Аминь.

4

Спиртное заметно подействовало на Ераноса. Он еще больше погрузился и в то же время как-то оживился. Все чаще наполнял стопки и, взявшись за свою, подолгу глядел на дальний горизонт, туда, где заходило солнце. Наконец, все так же не отрывая взгляда от горизонта, он, не глядя, нашел стопку мастера Мкртича, чокнулся и заговорил, словно сам с собой или обращаясь к солнцу.

— Всегда удивляюсь я, когда на белый свет смотрю. Сороковой год на свете живу, а дивиться не устаю. Какое это, все-таки, чудо — мир, земля! Как оно возникло, откуда? Говорят — «бог создал». Хорошо, да буду я жертвой его всемогуществу... Только чересчур короткое оно, это объяснение. Бог создал — и все. А я человек непонятливый. И хочется мне чтоб сел кто-нибудь рядом со мной и все бы растолковал честь честью: кто мы, для чего живем, и какой в этом смысл. Отчего, к примеру, родители меня с той девушкой обвенчали, а не с другой? Отчего на свете есть армяне и есть турки, отчего рознь между ними? Отчего это, если не по сердцу тебе кто-нибудь, как ни бейся — так и не будет к нему сердце лежать, а уж если отдал кому сердце — не оторвешь? Отчего есть закон, есть обычаи, и человек не такой свободный, как хочется?

Он поставил стакан и посмотрел на мастера Мкртича, который молча курил и внимательно слушал.

— Человек, мастер джан, сегодня жив, а завтра — нет. Обтачивал, скажем, черенок лопаты и оставил нож на грядке. Глядишь, споткнулся об камень или поскользнулся на сырой земле, упал, нож — в сердце, и готово. Все в руках божьих. А хорошо бы пожить подольше!

Поглядеть, к примеру, как люди будут жить потом, лет эдак через тридцать-сорок. Кто, скажем, будет сидеть на этой тахте, на что будет смотреть, о чем размышлять? Иной раз думаешь: а будут они тогда, эта тахта, этот домик, огород, эти обычаи, эти законы?

— Будет, все будет, Еранос, ты пей свою чашу.

Вдруг огородник повернулся к мастеру Мкртичу.

— Может, музыкантов позвать, гость дорогой?

— Не надо. Поздно уже, мне пора.

— Ну уважь меня, позволь...

— Нет, Еранос джан, стемнело уже, надо идти.

— Рано совсем, посиди еще.

Еранос разлил по стаканам оставшуюся водку, встал и пошел в домик.

— Еранос!

— Что прикажешь?

— Больше не надо.

— Еще кувшинчик, мастер джан! Один кувшинчик — и все.

— Не допьяна же напиваться, Еранос! Хватит.

Огородник смирился и вышел обратно в огород. Его слегка пошатывало.

— И опять ты меня не уважил, мастер джан...

— Желанье старшего — закон для младшего. Садись.

Солнце закатилось, и сразу наступил вечер. Мастер поднял свою стопку, посмотрел на огородника, потом взгляделся пристальнее и, не выпив, поставил ее на прежнее место.

— Невесел ты что-то, Еранос...

Огородник ничего не ответил.

— Горе у тебя какое-то...

Огородник опять ничего не ответил и понурил голову.

— Горе вином не зальешь. Горе с другим надо разделить, легче станет. Я как старший брат тебе...

Еранос повернулся к мастеру, но ничего не сказал. Видно было, что он хочет заговорить и не решается.

Мастер чокнулся с ним и выпил.

Еранос к своему стакану не прикоснулся.

— Любовь меня одолела, мастер...

— Что?!

Стручок перца вывалился из рук мастера. Он вскочил, рывком нахлобучил картуз, схватил трубку и кисет.

— Будь проклята твоя хлеб-соль!

И быстро пошел к воротам.

— Мастер! — в ужасе воскликнул Еранос и заступил ему дорогу.

— Прочь с дороги, греховодник! Тьфу! Это в твои-то годы... А семья как же? А честь-совесть твоя где? Привел бог услышать, ничего не скажешь...

— Мастер, дорогой, умереть мне за тебя, не сердись, прости! Для того ведь и сказал, чтоб ты меня на ум наставил, как это бесовское наваждение из сердца вырвать, развеять ночным ветром, чтоб и не видеть, куда унесло... Вернись... богом молю, вернись...

— Видно, придется уступить, — заколебался мастер и повернул обратно. — Надо же — как все обернулось! А я-то думал: ты человек с честью, с совестью...

— Мастер, дорогой, вот нож, возьми и всади мне в сердце, только не говори так! Каждый человек имеет право полюбить хоть раз в жизни... У кого есть в сердце любовь, там другой женщине уже нет места. А пусто сердце, нет в нем любви, тогда оно что твой трут: стоит искре упасть — и зажглось...

— А жена как же? — мастер говорил шепотом, словно боялся собственного голоса.

— Это все родители, царство им небесное... Не пошел против их воли, потому только на ней женился...

— Правильно сделал, так и надо.

— Но, жизнью дочери клянусь, десять лет живем — ни дня я ее не любил...

— Молчи, Еранос! Стыдно! Мальчишка ты, что ли! Какая еще любовь?! Жену твою разве не твои мать-отец выбрали? Не святым обрядом она с тобой связана? Не мать она твоего невинного дитяти? Десять лет верой и правдой не она тебе служит? Ты говорил, двое братишек с тобой живут. Их разве не она растит, холит-лелеет? Она или не она? А? Может, боже сохрани, на других мужчин заглядывается? Или с норовом, жизни от нее нет? Если это так — прямо скажи!

— Нет, мастер, грех жаловаться: что нрав, что повадка — все слава богу.

— Какого ж тебе рожна надо?

Еранос не отвечал.

— Даже когда жена беспутная — не про нас будь сказано! — все равно должен человек ее любить и жить вместе с ней, потому как и плохая жена тоже от бога. Плоха жена — наставляй, бей, а все она твоя. Повенчаны — не развенчаешься. Исправится — хорошо, не исправится — твой крест, неси божью кару. Таков закон. Хороша жена или плоха — как судьба решила, так тому и быть. Смерть одна может разделить мужа с женой, да и то вдовцу лучше второй раз этого дела не затевать. Ты не молокосос, пора уж и самому знать.

— Знаю... Потому сердце кровью и обливается.

— Стыдись, Еранос! Пьян ты, вот и болтаешь невесть что. Протрезвишься — сквозь землю рад будешь провалиться.

Оба помолчали. На соседних огородах засветились окна домиков. Откуда-то издали донесся протяжный надрывный крик осла. Едва он замолк, послышался долгий, однообразный и тоскливый собачий лай. Потом стало удивительно тихо и спокойно.

— Какая же это потаскуха голову тебе заморочила?

— Не говори так, ради бога! Не надрывай мне сердце! Она, бедняжка, и словом-то со мной не перемолвилась.

— Чья она?

— Та самая турчанка, что я говорил.

— Турчанка?

Мастер Мкртич свету невзвидел от ярости. На лбу вздулись жилы, голос сорвался на крик:

— Мало было греха, так еще с турчанкой!

— Мастер...

— Молчи, Еранос! Ногу бы лучше сломать, не переступить твоего порога. Где тут ворота, покажи. Темно, сам не найду.

Еранос схватил с тахты нож, вложил в руку мастера и рванул рубаху на груди.

— Вот они, ворота! Распахни и иди, пусть укрепит господь твою руку...

Мастер Мкртич положил нож на тахту.

— Прости, Еранос, негоже в твоём доме так с тобой говорить. Но вина не моя: неслыханное довелось услышать, невиданное увидеть. Прощай.

— Мастер...

— Ну?

— Так с этим горьким словом и уйдешь?

— А ты чего хотел?

— Неужто совета для меня не найдешь? Для того ведь я и разговор завел. Ты же мне старший брат...

Мастер Мкртич остановился.

— Совет?

Слова Ераноса достигли своей цели.

Наступило долгое молчание. Кругом не было видно ни зги. Наконец слышались удары огнива о камень, посыпались искры: мастер закурил.

— Это ты хорошо сказал, Еранос — нужен тебе совет. И мне не годится так вот взять и уйти. Но совет мой ты и сам давным-давно знать должен: очисти душу от скверны.

— Как очистить? Как?!

— Не отрывайся от семьи, не оставайся один, заведи дружбу с честными, достойными людьми, товарищей подумавши выбирай, смотри на тех, у кого в доме совет да любовь, завидуй им доброй завистью, и сам так же живи. Закон и обычай чти. А что до турчанки... Оно, конечно, турки тоже божья тварь, как и мы, ихний бог — то же самое, что и наш. Но и веры они другой, и племени другого. Слыханное ли дело, чтоб христианин с мусульманкой связался?! Ни армянин на это не пойдет, ни турок... никто не пойдет. Если кто веру свою переменит, от народа своего откажется, а потом уж семью заведет — еще куда ни шло. Да только кто же решится на такое дело? Армянин от веры отступится — армяне убьют, турок отступится — турки...

Последние слова мастера Мкртича отдавали жестокостью, но голос звучал мягко: видно, он уже не сердился на Ераноса.

— В каждой деревне кости своим собакам достаются — это старый закон, — продолжал мастер. — Турчанка для турка рождается, армянка — для армянина.

Еранос стоял подавленный, с поникшей головой.

— Сам посуди: ну, возьмёт армянин турчанку в жены, а какой веры дети у них будут? Опять же, армяне они будут или турки? А? Сам скажи...

Огородник молчал.

— Без своего народа — какой человек?

Мастер помолчал, ожидая ответа, и снова спросил:

— Без своей веры — какой же человек?

Он выбил трубку об дерево и положил в карман. Мастеру стало жаль стоявшего перед ним убитого горем человека. И глядя на его еле видную в темноте понурую фигуру, мастер Мкртич вдруг улыбнулся, с новой силой почувствовав, какой счастливец он сам. Вот что лучше всяких советов подействует на Ераноса! Если огородник увидит хранительницу священных заветов — мать мастера, увидит прекрасный образец замужней женщины — его Эгнар, увидит радость и красу его очага — восьмилетнего Галуста, если он хоть раз побывает под мирной кровлей его дома и увидит, как счастлив может быть человек, он обязательно позавидует мастеру доброй завистью и вырвется из тенет этой неслышанной порчи. Еранос — хороший человек, жалко его.

— Пойдем-ка ко мне, Еранос, посидим за стаканом вина, поговорим.

— Спасибо, мастер джан, не могу. Вот-вот брат должен прийти. Не найдет меня здесь — тревожиться будет. Мало ли что в голову придет: вот уже четыре дня меня дома не было. В другой раз как-нибудь.

Мастер оторопел:

— Хлеб-соль мою отвергаешь?

Огородник спохватился, что обижает мастера, и согласился.

— Хорошо, тогда я немного погодя приду, старший брат. Ты уж не сердись...

— Это можно. А насчет турчанки — забудем, было и кончилось: пьян ты был... Дом мой в Дзори Богазе тебе всякий покажет.

Не успел Еранос проводить мастера Мкртича и вернуться обратно, как в домике зажглась керосиновая лампа: пришел его средний брат.

— Что сегодня дома не был, братец? — спросил он подошедшего Ераноса.
— Гость был у меня. Ну, как там дома?
— А что дома? Ничего, все хорошо. Только сестрица, жена твоя, все о тебе тревожится. Еды вот прислала.
— Сыт я, милый. А теперь мне идти пора, дело есть. Ты здесь заночуешь?
— Нет, надо зелень в город отвезти.
— Там, в доме, еще пучков сто лежит, эти тоже захвати. Ну, иди, запри за мной ворота.
Доброй ночи.
— Доброй ночи, братец.
Еранос ушел.

5

Еранос шел крупным шагом, надеясь догнать мастера. Дорога была окутана густой темнотой и совершенно безлюдна. Время от времени то по одну, то по другую сторону слышалось тихое журчание родника. Все ворота были на запоре, за огородами молча стояли деревья.

Еранос пошел еще быстрее. Когда он сворачивал к турецкому базару, то вдруг заметил, что впереди идет еще кто-то. Хмель был тому виною, или темнота, но Ераносу почудилось, что это турчанка.

Еранос прибавил шагу. Он почти бежал, чтобы нагнать ее и посмотреть, правда ли это, но успел пробежать всего несколько шагов. Женщина обернулась, увидела, что за ней гонятся, сдернула чадру и скрылась в ближайших воротах. Еранос кинулся следом.

Это был постоялый двор. За воротами тянулись тесными рядами телеги армянских крестьян, турецкие арбы, фургоны русских мужиков. Людей во дворе не было: кто сидел в чайхане, кто уже устроился на ночлег. Все помещения для людей были по левую руку от входа, во всю длину стены, а лошади, волы и буйволы стояли в конюшне, расположенной по правую руку от входа, тоже во всю длину стены.

На постоялом дворе ни одна женщина, понятно, останавливаться не стала бы, и турчанка ни за что не вошла бы в помещения. Среди телег Еранос тоже бы ее сразу заметил и узнал, хоть она и скинула чадру, чтоб сойти в темноте за мужчину. Но он хорошо знал на этом постоялом дворе все ходы и выходы, и сразу понял, что турчанка вошла сюда не прятаться, а чтобы убежать через заднюю калитку. Он кинулся к этой калитке, которая выходила на другую улицу. Выскочил за ворота, быстро огляделся.

Улица была пуста. Никого.

Куда она делась так быстро? До перекрестков не близко, непохоже, чтобы женщина успела завернуть за угол. А вокруг одни только запертые лавки...

Вдруг Ераносу пришло в голову, что она могла зайти в церковь: до нее тут рукой подать. Он побежал было мимо запертых лавок к церкви, но тут же сообразил, что время уже позднее и все церкви закрыты.

А может, померещилось ему? Может, и не было никакой турчанки? Ну откуда ей взяться в такой час на улице, да еще не в своем квартале! И куда она могла идти в обратную сторону от турецкого квартала?

В ночном мраке желтые, голубые и красные ставни лавок казались одинаково темными. Еранос зашагал сквозь их глухие и мрачные ряды в сторону главной улицы.

Там, на главной улице, горели электрические фонари, из открытых магазинов лился яркий свет газовых рожков, освещая также и улицу. А закрытые магазины охраняли на этой улице не деревянные ставни, а металлические решетки, и внутри горел свет; поэтому и они выглядели веселее. Над магазинами были вторые этажи, с ярко освещенными нарядными окнами.

Улица была парадная, магазины — роскошные, дома — богатые. По тротуарам прохаживались господа в цилиндрах и галстуках, вели под ручку дам в корсетах и с ридикюлями; прогуливались офицеры, большей частью русские, со своими содержанками; возвращались домой, нетвердо держась на нотах, подвыпившие гюмрийцы; проезжали фаэтоны. Иногда это были одиночные фаэтоны, они ехали быстро; люди спешили на вокзал, на вечеринку или еще куда-нибудь. Иногда фаэтонов было два или три сразу, и они ехали медленно, бок о бок. В них ехала веселая свадьба или просто компания гуляк; обязательно играла восточная музыка, кто-нибудь из седоков стоял в фаэтоне во весь рост и с большим жаром выкрикивал что-то, размахивая бутылкой, зажатой в одной руке, и стаканом, зажатый в другой. Городовой на перекрестке крякал от удовольствия, довольно покручивая усы, но тут же спохватывался, напускал на себя строгость, надувал щеки и пронзительно свистел, чтобы пресечь музыку и выкрики на этой благопристойной улице.

Огородник приглядывался к женщинам, надеясь найти турчанку. Хотя он видел ее лицо один-единственный раз и всего несколько мгновений, но не сомневался, что узнает ее сразу. А женщина тоже видела его, в сущности, один раз, она была в чадре, да и испугалась тогда сильно. Словом, вряд ли она его узнает. Стало быть, огородник мог быть уверен, что она не станет прятаться от него.

Но турчанки не было.

Когда на темной улице женщина скинула чадру и скрылась, Еранос не успел разглядеть, в чем она была. И теперь он напрасно спешил то за одной, то за другой одиноко идущей женщиной, заглядывая им в лицо. Прохожие удивлялись, а порою даже пугались.

Так, в напрасных поисках он миновал всю ярко освещенную и многолюдную часть главной улицы. Теперь по обе стороны пошли одноэтажные дома; их окна в этот поздний час были уже закрыты ставнями. Ераносу попался только один дом с открытыми ставнями, да и те как раз закрывали, когда он проходил мимо. Женщина, которая закрывала ставни, посмотрела на огородника с удивлением.

Еранос понял, что у него взволнованный и растерянный вид, и постарался взять себя в руки. Впереди был Дзори Богаз, а там, наверное, недалеко и дом мастера Мкртича. Надо успокоиться, привести себя в порядок.

Вот показался впереди распряженный фаэтон; он стоял перед домом хозяина-извозчика. Вот из калитки вышли двое мужчин; один пожелал другому спокойной ночи и ушел, а другой снова вошел во двор и запер за собой калитку. Вот попался по пути и остался позади родник на перекрестке, тоже работа мастера Мкртича. Вот послышалось негромкое журчание Гюмри-чая, речушки, текущей через Дзори Богаз в сторону города. У ног Ераноса речка уходила под землю — сводчатый вход в подземное русло был выложен камнем — и текла под домами и улицами, выходя на свет уже за городом, у огородов.

Еранос дошел до того места, где речка текла еще в открытых берегах. По обе стороны от нее и до самого горизонта он увидел на склонах ущелья целую россыпь огней, от которых не становилось светлее, и услышал тоскливый и монотонный собачий лай.

Начинался Дзори Богаз.

6

Еранос сорвал с встретившейся по пути ивы хороший прут от собак и двинулся вперед. Миновав еще несколько домов, он поравнялся с крутой и узкой каменной лестницей, которая вела вверх по склону. Пересекаясь с улицами, она прерывалась, потом снова карабкалась вверх и кончалась только на последней, самой высокой улице. Там стоял большой двухэтажный дом, который сразу бросался в глаза, потому что был не похож на остальные: его каменные стены были выкрашены в голубой цвет, вдоль всего второго этажа тянулась

красивая крытая веранда. Это был дом золотых дел мастера Вагинака. Этот дом Еранос знал и поднялся к нему, чтобы расспросить, где тут дом мастера Мкртича.

В одном из угловых помещений нижнего этажа была мелочная лавка, тоже собственность ювелира Вагинака. Лавка была еще открыта, в ней горел яркий свет. Огородник вошел. За прилавком сидела жена ювелира.

— Добрый вечер, сестрица, — почтительно поздоровался Еранос.

— Вечер добрый.

— Где тут дом мастера Мкртича?

Жена ювелира сочла ниже своего достоинства знать, где живет простой ремесленник.

Она поморщилась:

— Почему я знаю? Постучись в дом, спроси у сына, может, он скажет.

Как раз в эту минуту вошел сын ювелира.

— Варос джан, покажи, где дом мастера Мкртича, — обратилась к нему мать.

Варос смерил огородника взглядом с ног до головы и, не выходя из лавки, объяснил:

— Спустишься вниз — ступай прямо до Двойного родника. От родника — четвертый дом.

Еранос вышел из лавки и пошел своей дорогой. После яркого света большой лампы мерцавшие вокруг огоньки показались такими бессильными, а освещенный ими Дзори Богас — таким темным...

7

Дверь отворил мастер Мкртич.

— Заходи, заходи, Еранос, милости прошу. Долго искать пришлось?

— Да нет, ничего.

В маленькой передней было две двери, одна против другой. Мастер отворил одну дверь и вместе с гостем вошел в комнату. Раздвинув обеими руками тяжелые суконные занавеси, он еще раз повторил:

— Милости прошу.

Огородник положил картуз на столик для игры в нарды, стоявший в углу у дверей, прошел вперед и сел на стул.

— Это еще что за новости? — удивился мастер. — Нет, так не годится. Если гость в первый раз на стул садится, потом, не успеешь оглянуться, — и на голову сядет. Нет уж, пожалуйста на тахту, располагайся поудобнее.

— И тут хорошо, мастер джан, не беспокойся.

— Кто тут хозяин, я или ты? — пошутил мастер. — Чтобы в моем доме никто больше не распоряжался!

Еранос улыбнулся и перебрался на тахту. Облокотился на подушки, вынул платок и обтер лицо.

— Собаки не напали на тебя?

— Да нет, обошлось.

Мастер вышел.

Оставшись один, Еранос огляделся.

Посреди комнаты стоял большой раздвижной стол, одна половинка его была выдвинута. Стол был покрыт белой скатертью с розовыми узорами; ее заливала ярким светом свисавшая с потолка чугунная лампа с большим белым абажуром. Над абажуром в комнате царил приятный полумрак. В простенке между окнами висела на золотистой чугунной ножке, привинченной к стене, еще одна лампа; сейчас она не горела. Окна закрывали длинные белые кружевные занавеси, на рамах были бледно-зеленые, тюлевые. Двери закрывали зеленые суконные занавеси. У дверей в одном углу стоял тот самый столик с нардами,

на который Еранос положил, войдя, свой картуз, в другом — небольшой круглый столик, покрытый красной шалью с цветочным узором и длинной бахромой, которой увлеченно играла пушистая кошечка. В глубине комнаты возвышался в углу большой буфет. Стены были увешаны коврами, на них висели семейные фотографии и картины.

В комнате находилось немало и других вещей, тех самых мелочей, которые делают жилье уютным и красивым, но Еранос их не заметил. Из-за видения, возникшего было перед ним по пути сюда и так внезапно исчезнувшего, он был все еще растерян и рассеян.

В передней послышался голос мастера Мкртича — он отдавал какие-то распоряжения, — потом тихонько скрипнула дверь в другую комнату.

Еранос достал черную блестящую табакерку с золотым солнцем на крышке — память об отце — и только было собрался свернуть самокрутку, как дверь комнаты открылась и снова закрылась, зеленые занавеси раздвинулись, и между ними, тоже в зеленом с головы до пят, перед ним вдруг предстала турчанка...

От неожиданности Еранос вздрогнул, словно в него ударила молния. На миг ему показалось, что это видение, зеленое видение, возникшее меж зеленых занавесей. Но женщина прошла вперед. Она не была знакома с Ераносом и поэтому только кивнула ему и прошла к буфету.

— Чур меня, чур, сгинь, дьявольское наваждение! — прошептал Еранос, не отрывая от женщины остекленевшего взгляда. Ему не раз случалось слышать, что нечистая сила любит принимать облик красавицы-турчанки, чтобы погубить христианина, но ни разу не доводилось видеть такое самому, а потому он не очень-то и верил. А теперь вот оно — перед глазами... Или это с пьяных глаз мерещится, а в комнате вовсе и нет никого? Аминь, аминь, рассыпья!..

Но если на минуту согласиться, что это не видение, а каким-то чудом сама турчанка, то она, само собой, не узнала огородника, а растерянность его приписала действию своей и в самом деле редкой красоты. Она, как видно, вернулась домой совсем недавно, потому что была в выходном наряде. На ней была джубба яркого зеленого сукна, с вставкой из темно-зеленого бархата. Голову покрывал зеленый шелковый платок, нетуго завязанный на затылке. Ниже платка широкий лоб был перехвачен зеленой тантаной — бархатной лентой, причудливо расшитой разноцветной шерстью. Ниже тантаны, во всю ее длину, шло несколько нитей жемчуга, а еще ниже — два ряда золотых монет; они были нанизаны так густо, что едва выглядывали друг из-под друга узкими полумесяцами. На висках, по концам этих ровных золотых рядков, висели две монеты покрупнее, а посередине лба — совсем большая.

Головной убор гюмрийки закрывал только верхнюю часть ее лба, и между червонцами и бровями виднелась полоска снежно-белой кожи. На груди висели на красивой золотой цепочке маленькие часики, тоже золотые. Цепочка была очень длинная, и женщина несколько раз обвила ее вокруг стройной белой шеи. Сейчас она как раз наклонилась над ящиком буфета, часы повисли в воздухе и тихонько раскачивались. Когда она поворачивала голову, шелковый платок переливался и вспыхивал то зелеными, то синими искорками.

Когда Еранос немного пришел в себя, он принялся рассуждать. Ну, конечно, это жена мастера, она хлопочет по хозяйству. Только очень уж на ту турчанку похожа...

«А ну как, если она и есть та турчанка?» — мелькнуло у Ераноса. Он вздрогнул. Боже правый, откуда только берутся такие грешные мысли?! Завтра же пойдет он в церковь, семь свечей поставит... да что там семь! — семьдесят семь поставит, чтоб отпустился ему грех нечистых помышлений. Мыслимое ли дело: чистая, безупречная женщина — только такой и место под святой семейной кровлей мастера Мкртича — и вдруг та турчанка!.. Ведь если так — значит, она прикидывается турчанкой и ходит в турецкий квартал по непонятным... по невероятным делам... Господи, прости и помилуй!

Но зачем думать и гадать и брать грех на душу? Надо просто попросить у нее воды и обратиться не с армянским словом «сестра», а с турецким «баджи». Если на слове «баджи» она себя выдаст, значит... Господи всеблагой, прости, отпусти грех, отгони нечистые подозрения, не допусти, чтобы он осмелился проверять эти греховные мысли — такой грех еще страшнее!

Женщина тем временем достала из буфета что ей нужно и повернулась, чтобы выйти. Когда она поравнялась с Ераносом, он еле удержался, чтобы не преградить ей дорогу, как тогда, и не крикнуть: «Баджи!» Слава богу, она быстро прошла к двери... раздвинула занавеси и исчезла за ними, словно зеленое видение...

Почти сразу же дверь отворилась. На этот раз вошел мастер Мкртич с сыном, мальчиком лет восьми...

— Вот, Еранос джан, познакомься с наследником моим. Самый дорогой, самый главный мой родник. Галуст, дай руку дяде. Вот так... Ну, Еранос джан, теперь уж наверняка знаю, что ты — хороший человек. Мой Галуст еще ни разу дурному человеку руки не подал, ни разу близко к нему не подошел. Душа этого невинного ребенка — путеводная звезда для меня.

Еранос был так растерян и озадачен, что не разобрал даже, шутит мастер или говорит серьезно. Он притянул ребенка к себе, погладил по головке.

— Ну-ка, Галуст джан, поговори немного с дядей. Ты прости, Еранос, я еще отлучусь на минуту-другую.

И мастер Мкртич снова вышел.

Еранос обнял ребенка. Значит, женщина ему не привиделась... Вот и сын ее, он — вылитая мать. Еранос гладит его черные кудри, белую кожу детского личика, смотрит в его черные глаза. Раз не сон, а явь этот ребенок, значит, и мать существует на самом деле. Сомневаться больше нечего. Но они встретились так неожиданно, женщина показалась в комнате так недолго, а Еранос вообще был как в тумане. Словно какой-то дивный свет разлился по комнате, и в этом свете все стояла в глазах его та дивная красавица...

8

Мастер Мкртич не ударил лицом в грязь: на столе чего только не было. На тахте, рядом с гостем села мать мастера. Сам он сидел на стуле, спиной к двери. Мальчик играл с кошкой у круглого столика в углу.

Эгнар, по просьбе мужа, осталась в своем нарядном платье. Она все входила и выходила, хлопотала у стола. Когда, наконец, все было устроено как подобает, она села рядом с мужем — лицом к Ераносу.

Теперь горела и лампа на стене. При этом ярком свете Еранос мог очень хорошо рассмотреть Эгнар. Это была женщина лет тридцати пяти, в полном расцвете зрелой женской красоты, статная, с маленькими нежными руками. Когда она поворачивалась к мужу, казалось, что он годится ей в отцы, хотя мастер был от силы лет на десять старше жены.

Огородник слишком долго не сводил глаз с Эгнар, не в силах скрыть свое восхищение. Мастер Мкртич и его мать то ли не замечали этого, то ли делали вид, что не замечают. Эгнар, конечно же, чувствовала на себе этот упорный взгляд, но он ее не удивлял: пристальное внимание гостя она считала привычной данью своей красоте. И она очень уж походила на турчанку, еще больше, чем когда в первый раз вошла в комнату...

Мастер Мкртич налил всем вина, поднял стакан и обратился к гостю:

— Еранос джан, твоё здоровье! Добро пожаловать в мой дом. Дай бог, чтобы наша дружба была не на день, не на час, а надолго.

— За твоё здоровье, братец, — сказала Эгнар и подняла свой стакан.

Еранос посмотрел на ее стакан, на тонкие пальцы, унизанные перстнями, потом перевел взгляд на широкий рукав джуббы, из которого выступала белоснежная рука, на браслет, тусклое золото которого оттеняло белизну запястья... Боже мой, ещё немного — и он не выдержит, грохнет об пол свой стакан, крикнет «Баджи!» и кинется к ее ногам...

— Твое здоровье, сынок, — услышал он голос старой матери мастера.

Еранос встрепенулся и повернулся к ней лицом.

— Спасибо. Спасибо вам за гостеприимство. Братец Мкртич, век не забуду, как ты меня уважил...

Когда огородник заговорил, Эгнар насторожилась: похоже, она уже слышала где-то этот голос. Но вспомнить так и не смогла и успокоилась.

Пока Еранос говорил, он все посматривал на Эгнар и внутренне холодел при мысли, что она, может быть, и впрямь та турчанка. Он со страхом ожидал, когда мастер представит его своей семье: тут уж, хочешь не хочешь, всплывет, что он огородник. Еранос не хотел, чтобы Эгнар его узнала, и готовился прервать мастера, чтобы не выдать себя. Но мастер ничего такого не говорил. Матери, он, видно, сказал, кто их гость, еще до того, как сели за стол, а Эгнар не счел нужным объяснять ничего.

Второй тост предложил Еранос. Он подошел к круглому столику, обнял Галуста, подвел к столу и, посадил себе на колени.

— Первым долгом я хочу выпить за это невинное божье создание, — сказал он. — Ты, матушка, здесь старшая, много лет тебе в этом доме воздавали самый большой почет и уважение. Они и сегодня твои, но завтрашний день — он вот чей. Завтра люди о нас и думать забудут, а его будут чтить-уважать. Если ты, мастер, сумел вложить в него хоть частицу своей божьей искры, знай: кто его почитит — тем и тебя почитит. Сестрица Эгнар, ты вложила в него частицу своей красоты, значит, кто им залюбуется — и тобой залюбуется. Родители живут в своих детях. Галуст джан, я тебе объясню, что твое имя означает, а ты запомни и не забывай: Галуст — это «приход», то есть то, что должно прийти, будущее, значит...

Мальчик улыбнулся и посмотрел на мать. Растроганная Эгнар встала, подошла к тахте и крепко обняла ребенка. Рука ее на мгновение коснулась руки Ераноса. Он весь затрепетал, ощутив ее живое тепло, и поспешно поставил стакан на стол.

— Сестрица...

И запнулся. Слово вырвалось само собой. Зачем он обратился к ней, что теперь сказать?..

— Сестрица, — повторил он и заставил себя снова поднять стакан, — мастер Мкртич целыми днями дома не бывает, матушка давно в летах...

Эгнар вдруг побледнела. Бог весть, что она боялась услышать под конец этой застольной речи...

— Взрастить этот росток ты должна сама, — продолжал Еранос. — Сделай так, чтобы он вырос, расцвел и дал бы свои плоды...

Эгнар улыбнулась, кивнула головой в знак согласия и благодарности и обратила к мужу почтительный взгляд. Мастер просиял. Еранос посмотрел на него — и всей душой позавидовал его счастью, и всей душой посочувствовал его беде...

9

Время было пить за здоровье Эгнар. Еранос посмотрел на полный стакан и задумался. Что сказать в тосте? Намекнуть Эгнар, что он — тот самый огородник, который знает половину ее тайны и догадывается об остальном? Или, может, лучше намекнуть мастеру Мкртичу, что у его жены есть ужасная, темная тайна, невиданная и неслыханная?

Но как скажешь такое?! Ему ведь и самому-то не очень верится, хоть Эгнар и похожа на ту турчанку как две капли воды. Может, это чудо... В чудо и то легче поверить... такой неслыханный позор... А как поверить в чудо, если отродясь чудес не видывал и верить в них не верил?

— Может, лучше проверить?

Но эта мысль снова ужаснула Ераноса. Так и не приняв никакого решения, он поднял стакан и встал. Постоял молча, опустив глаза, потом заговорил тихо, почти шепотом:

— Честь семьи — святыня. Но и любовь — святыня... Что выше — одному богу известно. Кто-то имя чести семьи погубит в себе любовь — и себя с ней погубит. Кто во имя любви семейную честь погубит — семью погубит. Дай бог, чтобы семья и любовь были всегда и везде неразлучны.

Мастер Мкртич слушал огородника с большим удовлетворением. Его мать тоже то и дело одобрительно кивала.

— Честь семьи похожа на ремесленника, — продолжал Еранос. — Она чиста, как совесть ремесленника, благородна, как его душа, честна, как его рука...

Еранос почтительно посмотрел на мастера, помолчал, потом продолжал:

— А любовь — она как турчанка...

Эгнар мгновенно вся побелела и напряглась, как струна. Повернувшись всем телом к гостю, она ждала.

— Как и турчанка, любовь — под чадрой, ее не увидишь, не распознаешь...

Никто не заметил внезапной бледности Эгнар. А она после этих слов Ераноса решила, что он упомянул о турчанке просто ради красного словца, и к ней эти слова никак не относятся, успокоилась и стала играть кудрями сынишки.

— Мастер Мкртич, — обратился огородник к хозяину дома. — Ты мне как старший брат. Если неверно скажу — не суди строго. Но я своим немудреным умом так понимаю: мужчина — опора дома, его стены, а женщина — кровля. Стены должны носить кровлю на руках, а ее долг — чтобы не только дождь очаг не заливал, но и никто чужой не заглядывал...

— Верно говоришь, Еранос джан, — подтвердил мастер и повернулся к матери, ожидая одобрения. Мать мастера улыбнулась и кивнула в знак согласия.

Еранос рывком повернулся к Эгнар и поднял стакан:

— Твое здоровье, баджи!

Страшный крик разорвал мирную тишину застолья. Мастер кинулся к жене. Еранос уронил стакан. Мать мастера быстро слезла с тахты, растерянно пошарила ногами, нашла шлепанцы, не глядя сунула в них ноги и тоже поспешила к невестке. Ребенок стоял рядом с матерью и растерянно смотрел на нее.

— Не бойся, Еранос, — обернулся мастер к гостю. — Это пройдет. Вот уж месяц с нашей Эгнар такое бывает: вскрикнет вдруг и побледнеет вся. Видно, испугалась чего-нибудь. Посиди, я сейчас приду...

Он бережно обнял жену за плечи, помог ей подняться и повел прочь из комнаты. У дверей обернулся к матери, которая тоже шла следом, ведя ребенка.

— Идем, матушка, поможешь мне.

Еранос остался один в опустевшей комнате. Он слышал, как легонько скрипнула дверь спальни. Потом все стихло. Кошка бесшумно прошла по ковру, примостилась на краешке, прикрыла глаза и о чем-то глубоко задумалась...

Когда мастер Мкртич снова вошел в комнату, Еранос был уже в картузе.

— Ты куда?

— Пойду, мастер. Поздно уже, да и сестрице нездоровится...

Мастер не стал его удерживать. Проводил до выхода, пожал на прощанье руку.

— Не взыщи, Еранос, кто же знал... В другой раз расстанемся веселее.

Вдали в кромешной тьме тосклив, глухо и однозвучно выла собака. Казалось, это даже не вой, а его отголосок.

Еранос ушел.

10

Утром Ераноса нашли на огородах. Он лежал на тахте с ножом в сердце. Судебные и медицинские чиновники занесли этот случай в протокол как самоубийство по невыясненным причинам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В кофейне Ибрагима было как всегдалюдно и как всегда тихо. Старики, которые уже не уходили далеко от дома, мужчины помоложе, которые по нездоровью или еще по какой причине не пошли на базар, — все они в этот утренний час коротали время в кофейне. Среди всеобщей тишины слышно было только, как со стуком забивают кости игроки в нарды да как позванивают при мытье стаканы.

Ибрагим стоял за стойкой. Перед ним выстроились рядом несколько наргиле разной величины и формы, сбоку, у края стойки, лежали скатанные молитвенные коврики, тазики и кувшины для омовения¹. Стена за спиной Ибрагима была увешана старинными медными доспехами и саблями хорошей стали. Боковые стены украшали два старинных, очень дорогих ковра.

Стену, которая выходила на улицу, целиком занимали широкое окно и застекленная дверь. Над дверью висели восточные музыкальные инструменты — бубен, тар и кяманча. Бубен был повернут кожей к стене. Если дверью хлопали сильнее, его бубенчики вздрагивали и чуть слышно звенели.

По пятницам Ибрагим закрывал кофейню позже обычного. Тогда здесь играли на этих инструментах любимые мелодии и песни Гюмри. Вина и водки, само собой, не было и в помине: коран запрещает правоверным употребление спиртных напитков, и турки никогда не пили на людях. Музыку слушали серьезно и сосредоточенно. То и дело бесшумно открывалась дверь, и входили все новые посетители.

А сейчас было обычное утро буднего дня, время тянулось медленно, и новые посетители не появлялись. Однако в полдень двери отворились, и вошел мулла. Он как-то наспех и невнятно ответил на приветствия, быстро прошел в глубь кофейни и сел в уголке за свободный столик. Мулла забыл снять у порога верхнюю обувь — бабучи — и по устланному коврами полу за ним протянулся пыльный след. Это означало, что мулла крайне взволнован, а такого не случалось уже очень давно.

Мулла сел, закинул ногу на ногу и стал ее нервно раскачивать. Масы — обувь для помещения, с мягким верхом и мягкой подошвой, сшитая целиком из желтой и ноздреватой, как лимонная корка, кожи — так плотно облегали ногу, повторяя ее форму, что казалось, будто мулла сидит босой, а ноги его просто выкрашены по щиколотку хной. Так и не снятый бабуч — обувь без задника, которую носят поверх масов и которая состоит из толстой подошвы и куска кожи на носке — висел у него на самых кончиках пальцев. Некоторое время он раскачивал бабуч, потом встал и взволнованно прошелся по комнате, беспокожно перебирая четки. При каждом шаге бабучи шлепали его по пяткам, словно отвешивали пощечины?

Ибрагим подошел к мулле.

— Что-то ты сегодня сам на себя не похож, мулла...

Хотя стояло лето, на плечи муллы была накинута теплая шаль. Он приостановился, нервно одернул концы шали, но ничего не ответил. Высокий и сухощавый, мулла взглянул

¹ Имеется в виду так называемое обычное или малое омовение (вуду), которое обязательно перед молитвой: водой, чистой с точки зрения шариата, правоверный обмывает лицо, руки до локтей, проводит по голове смоченной правой рукой, обмывает ноги. Тело верующего должно быть закрыто одеждой: женщины открывают лицо и руки. Малое омовение очищает от малой нечистоты (хадасы), главным образом от прикосновения к чему-либо нечистому.

с высоты своего роста на низенького Ибрагима и наткнулся на его вопросительный взгляд.

— Нет, правда, — настаивал тот.

— Дай-ка мне чаю, — сказал мулла и вернулся на свое место в углу.

Ибрагим налил чаю и понес к столику. Хоть ему и не терпелось поскорее узнать, отчего мулла так разволновался, чай он наливал неторопливо, бережно, с присущим ему мастерством: сначала налил в стакан кипятку, чуть больше, чем полстакана, потом долил заварку так искусно, что она осталась на поверхности, не смешиваясь с кипятком.

— Садись, — шепотом сказал мулла, когда Ибрагим поставил стакан с чаем на столик и притворился, будто собирается уйти. — Садись и слушай. Это кто там, хаджи Кярим? Хаджи Кярим!

Совершенно седой, но еще бодрый старик подошел к столику и тоже сел.

— Хабиба...

Мулла замолчал и обвел взглядом своих собеседников. Те целиком обратились в слух.

— Хабиба любовника завела...

— Что?! — вскрикнул хаджи.

— Тихо! — предостерег Ибрагим, но за соседними столиками уже бросили играть в нарды, несколько пожилых мужчин встали и подошли к столику мุลлы.

— Берите стулья, садитесь, — сказал мулла.

— Хабиба любовника завела! — прорычал хаджи в ответ на их вопросительные взгляды.

— Любовника? — переспросил один из них спокойно и деловито и принялся сворачивать самокрутку. — Нехорошо. Всех нас позорит.

— Убить ее! — взорвался вспыльчивый хаджи. — Нет, только убить — мало... Осрамить, потом убить!

— Поженить их — и дело с концом! — то ли в шутку, то ли всерьез предложил тот же деловитый человек и закурил.

— Откуда пришла, пусть туда и уходит, — процедил Ибрагим. — Выгоним Хабибу. А руки в крови пачкать нечего.

И вдруг почти у всех мужчин мелькнула одна и та же мысль: а кому же досталась эта красавица, про глаза которой рассказывают такие чудеса? Кому в их квартале выпало такое счастье? И все сразу обратились к мулле:

— А любовник кто?

Мулла отодвинул в сторону остывший чай, положил на стол четки, которые беспокойно перебирал, и принялся молча рассматривать их. Наконец он поднял голову.

— Любовник Хабибы...

Все смотрели на него с таким нетерпением, словно готовились вырвать слова прямо изо рта.

— Любовник Хабибы — армянин.

Поднялся невообразимый шум. Каждому казалось, что Хабибу отняли у него самого.

— Убьем, клянусь бородой пророка! Кто смеет коснуться нашей женщины?!

— Убьем, клянусь знаменем Пророка! Кто смеет трогать наше добро?!

— В каждом селе кости своим собакам достаются! Кто смеет трогать нашу кость?!

— Да что вы заладили: любовник, любовник... А сама-то она?!

Клокочущий вал ярости на миг застыл на гребне — и обрушился теперь уже в другую сторону, на турчанку, такую прекрасную и такую недоступную для них.

— Зарезать, как собаку! Как это — с армянином?!

— Поставить на колени у дома, где блудила — и прирезать! С армянином, а?

— Принесем в жертву шариату! Блудить с христианином?!

Среди всеобщего шума Ибрагим один заговорил неторопливо и негромко, и поэтому

его услышали все.

— Не верится все-таки... Откуда среди армян такой бесчестный возьмется! Жили с ними по совести, как братья, словом худым друг друга не обидели. И чтобы они вдруг — нашу женщину?

Шум стих. Мулла еще раз подтвердил, что так оно и есть.

— Так или не так, — сказал Ибрагим, — а убийство — дело скверное. Откуда приехала, туда пусть и уезжает. В нашем квартале таким не место. А что до парня — отдадим его на суд почтенным старикам из армян, пусть сами плюнут ему в лицо... Что скажешь, мулла?

Мулла зажал в кулаке свою реденькую бородку и задумался.

— А как ты узнал-то, мулла? — спросил хаджи.

— Сафаровы дети видели, как этот армянин зашел к Хабибе.

Воцарилась тишина. Деловитый человек выбил трубку об стол и посоветовал:

— Не тяните, решайте что-нибудь. Вернутся мужчины с базара — убьют Хабибу. Или же давайте сами уьем, или кончим без крови, пока не поздно...

Он говорил так спокойно и деловито, что эти слова прозвучали точно шутка. Но опасность, на которую он обратил всеобщее внимание, была бесспорная и нешуточная. Да, мужчины вернутся вечером домой и долго раздумывать не станут — прольется кровь... Пока все думали, как быть, он заговорил снова:

— Женщину выгнать, парня избить — вот и все. Ибрагим, ну-ка дай сюда палку хаджи Кярима.

— Парня — избить, — согласились некоторые. — А вот женщину...

Тех, кто помоложе, полоснуло по сердцу ревнивое чувство: из каких-то дальних, неведомых далей приехала красавица, выбрала себе в любовники чужака и теперь вот снова уедет...

Одному довелось увидеть ее глаза, другому — лоб, третьему — нежную руку, придерживающую чадру. Случалось, ветер относил край чадры и подол юбки и открывал на миг ее стройные ноги, случалось, он, наоборот, тесно облеплял чадрой и платьем ее фигуру и обрисовывал на миг ее красивые формы... И потом, за чашечкой кофе, они долго говорили о ней, описывали друг другу то, что видели, и из этих рассказов в их воображении складывался облик Хабибы — красавицы с белоснежным лбом и черными глазами, с маленькими нежными руками и стройными, легкими ногами... близкой, но недоступной...

— Шариат...

Голос муллы вернул их к действительности.

— Шариат, — продолжал мулла, — страшного за такое требует, правоверные... Но я вас на это не толкну. Будем милосердны, правоверные, и пусть аллах покарает меня за то, что я слаб духом. Женщину — выгнать, парня — избить! Сегодня же пошлю свою старшую жену к Хабибе.

Хаджи и все другие старейшины квартала наклонили головы, соглашаясь с этим решением, — и от своего имени и от имени всех, кого в кофейне не было.

2

Светлый полуденный покой разлился над огородами. Все вокруг застыло неподвижно, но это не дремотное оцепенение, в которое погружает палящий зной, а благодатная полуденная безмятежность. Солнце щедро омывает огороды, поля, весь мир от горизонта до горизонта. Большими темными пятнами кажутся ряды деревьев на межах и вокруг домиков. Жара и прохлада мирно уживаются бок о бок друг с другом. Время от времени свежее дыхание ветерка касается листвы, она величаво, неторопливо колыхнется и обдает прохладой человека, любое живое существо, что нашло себе приют под ее сенью.

У домиков меж деревьев струится в ручейке прозрачная вода, течет быстро, но совершенно бесшумно, и только иногда, набежав по пути на камень, всплескивает негромко, словно девушка-купальщица, которая вошла в воду и тихонько вскрикнула, ощутив ее холод.

Если, лежа под деревом, взглянуть вверх, на ветви склонившейся над водой ивы, глаза ослепит причудливая мозаика солнечных бликов и зеленой листвы. В листве не смолкает тонкое, почти неуловимое жужжание пчел, хотя самих пчел не видно. Пчелы выются вокруг цветов, таких же невидимых, как они сами. Вместе с их жужжанием вниз, на зеленый ковер травы, струится дивное благоухание этих бесчисленных цветов, такое же тонкое, неуловимое...

Вдали, там, где кончаются огороды и поблескивают среди городского мусора осколки битого стекла, с равномерными промежутками, однотонно и задумчиво подает голос какая-то пичуга: о-по-о!.. Тишь, глубокая и прозрачная...

О-по-о... Полдень... Покой... О-по-о...

Можно часами лежать на спине под ивой, у воды, ощущать прохладную свежесть листвы и воды, вдыхать струящийся с ветвей сладкий, умиротворяющий аромат, слушать жужжание пчел, внезапные тихие всплески воды и спокойный, мирный, словно бы бесплотный голосок из солнечной дали: о-по-о... Потом тишина, потом снова: о-по-о... Этот голосок не нарушает тишины, не тревожит покоя, наоборот, с каждым таким повтором тишина и покой становятся все глубже, растекаются, обволакивают все вокруг...

Иногда вдали мелькает меж деревьев фигура огородника; он идет с лопатой на плече, босой, в закатанных по колено шароварах. О-по-о... — снова подает голос пичуга, и человек тоже начинает казаться таким же бесплотным и мирным видением, как этот голос.

Иногда в тени деревьев показываются две девушки. Девушки в платьях с нежно-розовой каймой и поясом, в белых шляпах с широкими, тоже нежно-розовыми полями. От их воздушных платьев исходит особый, свойственный одним юным девушкам аромат — аромат невинности. Они похожи на цветы яблони — такие же бело-розовые и чистые. Снова слышится «о-по-о», и девушки тоже начинают казаться бесплотными видениями...

На огороде Ераноса отворилась калитка и вошел мастер Мкртич. На миг показалось, что он — тоже бесплотное видение, что был когда-то такой человек, жил, работал, прошел свой жизненный путь и умер, унес с собой весь свой мир, а теперь воскрес, но совсем ненадолго, что он бестелесен и потому и выступает так торжественно и совершенно бесшумно.

3

Мастер Мкртич подошел к домику на огороде. Средний брат Ераноса, Гегам, увидел его с дальних грядок, воткнул лопату в землю и поспешил к гостю. Из-за домика выглянула и тоже поспешила навстречу мастеру вдова Ераноса, которая связывала столовую зелень в пучки.

— Добрый день, сестрица.

— Добрый день, братец Мкртич.

Мастер Мкртич познакомился с семьей Ераноса еще на похоронах огородника, знал всех и поэтому, оглядевшись по сторонам, спросил:

— А где же моя Манана?

— Здравствуй, мастер джан, — приветствовал гостя подошедший Гегам.

— Будь здоров, сынок. Так где же моя Манана?

— Спит она, братец Мкртич, — сказала женщина и кивнула головой в ту сторону, где склонились над водой тенистые ивы. Мастер пригляделся внимательнее, заметил девочку и направился к ней. Мать и дядя шли позади.

Манана лежала на траве, ее босые ножки утопали в густых зарослях мелких белых цветов. Девочка подложила руку под голову, другая рука свободно лежала на траве и сжимала букетик цветов. Густые черные волосы Мананы, все в крупных кольцах, были перехвачены широкой алой лентой.

Мастер посмотрел на девочку с любовью и нежностью и хотел было нагнуться к ней, но услышал за спиной всхлипывания и быстро обернулся.

— Ты что, сестрица!?

— Сиротка моя... без отца... ни защиты, ни опоры...

— Бог милостив, сестрица. Дядья живы, ты жива, дай вам бог здоровья! Не пропадет. Ну, вытри, вытри слезы.

— Не плачь, невестка-ханум, не плачь, родная, — ласково сказал и Гегам, глядя на вдову брата своими умными и задумчивыми глазами. — Не должен был брат этого делать... ну, да что теперь... Не плачь!

Мастер Мкртич наклонился к девочке, бережно поднял и понес к домику. Сел на тахту, еще раз посмотрел на спящего ребенка, поцеловал в лоб.

— Ей ведь шесть уже?

— Зимой шесть исполнилось, братец Мкртич.

— Есть у меня, сестрица, замысел один, — заговорил мастер Мкртич, все еще держа девочку на руках. — И ты, Гегам, слушай хорошенько, теперь ты в доме за старшего...

Женщина села. Гегам не позволил себе сесть при мастере, остался стоять.

Мастер задумался. Собрался было начать обстоятельный разговор, но вдруг передумал, еще раз поцеловал девочку в лоб, передал матери и сказал только:

— Береги как цветок невестку мою, сестра!

Женщина вспыхнула, быстро перевела взгляд на дочку и умиленно и крепко поцеловала ее. Малышка проснулась, откинула кудри с лица и улыбнулась, не совсем понимая, где она.

— Гегам, — строго обратился мастер к юноше. — Чтоб мою дочку никто пальцем не тронул! Сделай так, чтобы мой цветок цвел всегда.

Гегам совсем по-взрослому посерьезнел, помолчал, потом наклонил голову в знак согласия.

— Пусть будет как ты пожелал, мастер. Такую честь нам оказываешь, нам ли возражать.

— А твое слово, сестра? — вопросительно взглянул мастер на вдову.

— Слово деверя для меня закон, братец Мкртич.

— Ты скажи, что на сердце у тебя. Вон слово царя тоже для нас закон, а спроси-ка наше сердце...

— Нет у меня слов, братец Мкртич, чтобы сказать, что на сердце... Хочешь стать отцом моей сиротке... счастье дать моей несчастной... моей Манане...

Женщина не смогла договорить — ее душили слезы, горькие и счастливые сразу — и только еще раз поцеловала ребенка.

Услышав свое имя, девочка снова улыбнулась, вырвалась из материнских объятий и убежала: смутилась оттого, что трое взрослых целиком заняты только ею.

Мастер Мкртич проводил ее умиленным взглядом, улыбнулся в густые усы и, вынув из кармана поллитровку, повернулся к Гегаму.

— Давай сюда стаканы.

И тут же передумал:

— Постой, не надо стаканов. Пойди сорви два огурца.

Гегам кинулся к огуречным грядкам и вернулся с двумя огурцами.

— Принеси нож.

Гегам вошел в домик. На лице мастера появилось на миг выражение строгости. Он обратился к вдове:

— Вот что, сестра... Знай: большую честь оказываю я вашему дому. Не принято такое — родниться с семьей самоубийцы. Если другие станут то же делать — на мне вина будет.

Гегам вынес нож и подал мастеру. Женщина вскрикнула.

Гегам посмотрел внимательнее, смешался и быстро протянул руку к ножу.

— Дай, я другой принесу... это тот самый нож...

Мастер отвел его руку.

— Все правильно, сынок. Сам бог тебе подсказал, чтобы ты тот самый нож принес. Это был злой нож, но все зло из него уже вышло, кончилось. Теперь в нем только доброе осталось. Значит, и нам, кроме добра, ничего не будет. Всегда носи его с собой.

Мастер взял огурец, разрезал поперек на две половинки, вырезал мякоть; получилось два стакана. Взял второй огурец, сделал стакан и из его половинки. Разлил по стаканам водку, один взял сам, два протянул женщине и Гегаму.

— Выпьем за слово, что дали друг другу. Упокой, господи, грешную душу Ераноса... Дай бог, чтоб никто на свете не смог порвать наш обет. Пусть растут, не видя горя, мои дети Манана и Галуст, пусть принадлежат друг другу, пусть живут счастливо, в радости-веселье.

Мастер залпом выпил свою водку и съел огурец. Гегам сделал то же самое. Женщина пригубила стакан и, обливаясь слезами, вылила остальное на нож.

— И ты выпей, безжалостный... Твою дочку обручаем!

4

Мастер Мкртич мимоходом потрепал по щеке младшего брата Ераноса (тот играл в тени тополей) и вышел за калитку, на дорогу. Но едва переступив порог, он вздрогнул и прислонился к стене.

Мимо, не заметив его, торопливо прошла турчанка, и мастеру показалось, что он узнал походку Эгнар, так хорошо знакомую уже целых двадцать лет.

— Чур меня, сатана! Пьян я, что ли? — прошептал он, глядя ей вслед. — И туфли ее...

Он потер лоб. Мастеру случалось слышать, что нечистая сила оборачивается иногда красавицей-турчанкой, чтобы завлечь христианина и погубить его душу, но он никогда не верил в эти рассказы. Только после гибели Ераноса мелькнуло было подозрение, не злой ли дух явился тогда огороднику под видом турчанки. И говорят, будто нечистая сила таскает одежду и обувь у молодых женщин... Поносит, сколько надо, и кладет обратно...

— Что это, господи! — повторил мастер. — И каблуки, и цвет... Глаза врут, что ли? Как же это?

Турчанка шла все так же быстро и вдруг исчезла из виду. У мастера отлегло от сердца: значит, оборотень, привиделся и исчез. Но тут же он спохватился: может, женщину просто не видно за поворотом стены? Кинулся вперед проверить.

Он сделал всего несколько шагов — и снова увидел турчанку. Наглухо закутанная в чадру, она шла дальше, все так же быстро.

Мастер вдруг вспомнил: у Эгнар на зеленых туфлях лопнула в двух местах левая подошва, и он велел выкинуть эту пару.

Он нагнулся, отыскал в дорожной пыли следы турчанки. След левой подошвы отчетливо пересекали две поперечные линии.

— Господи помилуй! — перекрестился мастер и сдвинул картуз на затылок. — Вот ведь, своими глазами вижу чудо — а все не верю. А может... может, это и не чудо вовсе?

Небольшой восьмигранный родник турецкого квартала стоял под деревьями и сейчас был целиком скрыт в их тени. Это означало, что день в самом разгаре. В ярких лучах солнца все вокруг родника смотрело так светло и радостно, что сам он, темнея в тени деревьев, казался ночным видением, которое окружено ясным днем со всех сторон. Вода бесшумной и недвижной дугой соединяла трубу и чашу, словно серебряный мост, перекинутый из этого мира в царство теней.

Вокруг родника толпились в тени девушки и женщины. Воду, однако, никто не набирал, а те, кто уже набрал, не уходили. Все были захвачены разговором, как видно, очень интересным и важным. Под струей стоял кувшин, он давно переполнился, и вода, журча, переливалась через край.

— Сафаровы дети... у заброшенной улицы... По-турецки заговорили — не понял... папаху для отвода глаз носит...

— А папаха черная? — спросила одна.

— Черная.

— В завитках?

— В завитках.

— Стало быть, я его тоже видела!

Другая женщина, которая задумчиво крутила кольцо на пальце, вдруг покраснела и тоже вмешалась в разговор.

— Это тот, что глаза — как огонь?

— Тот самый.

— И я его видела! Как-то воды у меня попросил. Я лицо закрыла, убежала. Не знаю, куда он пошел.

— Куда ему идти? Ясно — к той бесстыднице пошел! — откликнулась одна из девушек и гневно сверкнула большими черными глазами в сторону дома Хабибы.

— Милуются, небось! — с ненавистью воскликнула, кусая губы, одна из женщин. — Целует молодого, шлюха, в постель к себе...

Ее глаза вдруг наполнились слезами, она замолчала и закуталась в чадру.

— А чего ей не миловаться! — с горькой усмешкой отозвалась другая. — Денег вдоволь, забот никаких. Чего ей не хватает... А парень-то, парень-то какой!

— Любит ее, души не чает. Бывает, попросит мужчина напиться, сам говорит: воды хочу, а ты видишь — тебя хочет... А он воды попросил — так ему только воды хотелось! Своими глазами видела: лоб в поту, волосы в пыли...

— Ясно, любит! Не бить же ее ходит! Такой парень в жизни женщину не ударит...

Черные глаза женщин метали молнии из-под длинных ресниц, зрачки вспыхивали ненавистью, щеки горели багровым румянцем, словно отражали пламя пожара, грудь бурно вздымалась, словно от сдерживаемых рыданий. А когда они говорили, казалось, будто голоса доносятся из глубокого колодца, полного горя и слез. Некоторые стояли, закрыв лицо чадрой, держа в одной руке кувшин, придерживая другой рукой чадру на груди, а тот край чадры, который прикрывал лицо, прихватывали мелкими белыми зубами. Вместе с краешком чадры они до крови прикусывали губу. Казалось странным, что взятая ими в полукольцо вода струится все так же безмятежно, и что надпись с именем мастера Мкртича, выбитая на роднике на трех древних, но живых языках, тоже выглядит по-прежнему мирно и незыблемо.

Старшей жене муллы носить воду, само собой, не подобало. На этот раз она тоже была без кувшина. Стояла среди женщин, молча слушала их разговоры и время от времени кивала в знак одобрения. Но слушала она вполуха и все поглядывала в сторону улицы. Когда

там показалась и быстро прошла дальше Эгнар, жена муллы сделала женщинам знак молчать и поспешила следом за нею.

Женщины у родника переглянулись.

— Знать бы, что мужчины решили... — прошептала одна.

— Убьют, — предположила другая.

— Пусть убьют! — сверкнули из-под чадры черные глаза. — Не по шариату живет! С какой стати ей одной не по шариату жить?!

6

Старшая жена муллы догнала Эгнар на безлюдной улице, у самого дома Хабибы, преградила дорогу и обеими руками грубо рванула с ее лица чадру.

— Бесстыжая!

Эгнар побледнела.

— Любовника завела, сука? Правда это? Ну?!

— Правда, баджи... От тебя скроешь, от аллаха не скроешь... — прошептала Эгнар.

— Правда, значит...

Жена муллы в ярости сжала кулаки, скрипнула зубами и, словно ее кто-то толкнул изнутри, рванулась к жене мастера.

— Армянин?

— Армянин...

Эгнар схватилась за сердце: оно беспорядочно колотилось в груди.

— Значит, верно, да? Потаскуха! Ну стой же!

Она резко повернулась назад и закричала:

— Эй, девушки, женщины! Хватайте по камню, бегите сюда! Собаку надо забить!.. Быстро!

— Баджи! — гаснущим голосом вскрикнула ослабевшая от ужаса Эгнар. — Баджи, не кричи! Ради всего святого... я тоже армянка.

— Что-о?!

Турчанка попятилась и ухватилась за стену, чтобы не упасть.

— Армянка?!

Родник был далеко, и зова турчанки никто не услышал.

Эгнар так побелела, что, казалось, вот-вот упадет замертво.

Жена муллы смотрела на нее в оцепенении. Наконец губы ее зашевелились: она пыталась что-то сказать, но голос не слушался. Прошло немало времени, пока к жене муллы вернулся дар речи.

— Армянка... О пророк!.. Мы-то как не заметили? Дьявольское отродье! Блудишь и турчанкой прикидываешься?! Да мы тебя зубами... зубами... в ключья!

Турчанка с трудом оторвалась от стены и пошла обратно, домой или в кофейню — она сама еще не знала, куда. Надо было сообщить эту невероятную новость мужчинам.

Эгнар потрясенно смотрела ей вслед. Первой мыслью было: бежать! Бежать и не возвращаться! Но тут же она с ужасом вспомнила: вот-вот придет любимый и попадет в руки разъяренной толпы. Скорей, скорей, встретить его, вернуть с полдороги!

Она кинулась налево, на заброшенную улицу. Как и всегда, там не было никого, кроме детей Сафара; они играли у стены. Едва показалась Эгнар, один из них встал, медленно, с равнодушным видом прошел несколько шагов и пустился бежать. По глазам детей Эгнар поняла, что они следят за ней и мальчишка побежал за взрослыми.

Силы оставили Эгнар. Она поняла, что ей не вырваться из западни и, покоровшись неизбежности, побрела, еле передвигая ноги, к дому Хабибы, вошла и притворила за собой ворота.

7

Едва Эгнар затворила ворота, показался мастер Мкртич. Он быстрым шагом вошел на улицу и поспешно огляделся.

— Баджи!

Старшая жена, муллы, которая торопливо шла прочь, оглянулась и остановилась. Мастер, потный, весь покрытый пылью, поспешил к ней.

— Здравствуй, баджи.

— Здравствуй, мастер Мкртич...

— Женщина здесь только что проходила, баджи?.. Турчанка...

Старшая жена муллы секунду помолчала, потом губы ее под чадрой скривились в усмешке.

— На что тебе турчанка, мастер?

Мастер только теперь немного пришел в себя и понял, насколько странным может показаться его вопрос.

— Дело есть, баджи, — все-таки стоял он на своем.

— Какие же дела, между вами? — снова спросила жена муллы, чуть приоткрыв чадру.

— Ты — армянин, она — турчанка, ты человек семейный, она...

— А что, баджи, — через силу улыбнулся мастер, — не может быть у армянина с турчанкой невинного дела, как у брата с сестрой?

— Может, почему не может.

— Вот у меня как раз такое дело... Турчанка... в зеленых туфлях...

Вне себя от волнения, мастер судорожно вцепился обеими руками в свой пояс и застыл в ожидании.

— Эта женщина к себе домой вошла. Она живет одна. Как же ты войдешь к одинокой женщине, мастер?

Со стороны заброшенной улицы показался Варос, сын ювелира Вагинака. Увидев мастера Мкртича, он метнулся назад и исчез. Ни мастер, ни жена муллы ничего не заметили. Но его увидели дети Сафара и всей гурьбой побежали сказать взрослым, что приходил армянский парень. Но того уже и след простыл.

— Ну, раз она живет одна, войдем вместе, баджи, — предложил мастер.

Они подошли к воротам.

— Мастер, она армянка!

— Армянка?..

Жена муллы не ответила. Кровь бросилась ей в лицо, она вся напряглась и сказала яростным шепотом:

— Иди, своими глазами увидишь! Сама распутничает, любовника держит, а позорит — нас.

Мастер быстро шагнул за ворота.

8

Садик, который совсем было зарос и одичал за десять лет одиночества, теперь весь лучился светом и радостью. Варос проредил деревья, подстриг лишние, разросшиеся вкривь и вкось ветки, расчистил дорожки и клумбы, всюду посадил цветы, ароматные и нежные. Теперь это был действительно светлый садик, а не темная роща, как раньше. Солнечный свет обильно лился сквозь ветви на землю. На земле теперь царило солнце, а тень, разорванная на клочки, жалась под деревьями. Островки тени были небольшие, окруженные со всех сторон крупными солнечными пятнами, и от этого они казались темнее, про-

хладнее и отраднее. Везде, куда только мог упасть солнечный луч, росли цветы. Сквозь цветочный ковер были проложены тропки, посыпанные битым кирпичом. Фонтан посреди бассейна бил выше, чем раньше, водяная пыль кропила листья и цветы.

Мастер Мкртич на миг застыл, словно боясь неосторожным движением разрушить очарование садика. От ворот до двери дома он шел почти на цыпочках, прижимался к стене и все старался не заступить за кромку узкой дорожки, чтобы не затоптать травку, такую нежную и чистую.

Войдя в переднюю, мастер открыл одну из дверей и оказался в комнате с тремя окнами. Там никого не было. Задняя половина комнаты, отделенная занавеской, была чуть выше; туда вели две ступеньки. Мастер отдернул занавеску. Тоже никого...

Он вернулся назад в переднюю. Стало быть, злой дух, турчанка, армянка или — господи! — его жена Эгнар — там, в другой комнате.

Сердце его дрогнуло. Дрогнула и рука, которой он взялся за ручку двери. Медленно и почти неслышно мастер отворил дверь и вошел.

Эгнар, бледная, без сил, стояла на коленях. Ее полуоткрытые губы шептали молитву... конечно, о спасении возлюбленного.

Дверь скрипнула. Эгнар обернулась и вздрогнула. Похоже, она не поверила своим глазам. Она испугалась скорее самой мысли о том, что смятение и страх породили в ее воспаленном мозгу такие ужасные видения, чем действительно стоявшего в дверях мужа.

— Эгнар?! — прошептал мастер Мкртич.

Мгновенно лицо Эгнар покрылось неопикуемой бледностью. Казалось, наоборот, это немыслимо потемнели ее глаза. Она прижала руку к груди, ощутила, как бешено рвется из груди сердце, и не смогла даже крикнуть. Послышался только негромкий вздох, а может, стон, похожий на всплеск прозрачной воды в ручейке — и Эгнар смолкла.

Все было кончено.

9

Тяжелые и негостеприимные ворота Хабибы снова затворились. В турецком квартале еще раз убедились, что над домом исчезнувшей старухи тяготеет проклятие.

Сразу после смерти Эгнар, когда весть об этом через старшую жену муллы разнеслась по всему кварталу, жители схватили кто заступ, кто кирку и ринулись к дому Хабибы, чтобы стереть его с лица земли. И пока весть о несчастье мастера Мкртича летела в город, чтобы ударить в него, подобно молнии, с такой же быстротой и силой — мулла, Ибрагим, Сафар, хаджи Кярим и остальные мужчины квартала принялись исступленно молотить кирками по кирпичному фасаду дома. Казалось, что даже самые удары звучат как-то особенно мрачно. От кирпичей полетела красная пыль и окутала толпу, блестящие заступы и кирки.

Сами не понимая почему, заголосили и стали рвать на себе волосы женщины, заревели в голос дети. Удары мужчин становились все яростнее, словно они не ломали, а хлестали стену, расправлялись с ней, стирали с лица земли, будто это она была во всем виновата.

Среди всеобщего шума и крика ворота дома Хабибы вдруг отворились, и на пороге показался мастер Мкртич, высокий и сосредоточенный, в сдвинутом на затылок картузе, с биринками пота на высоком лбу. Он обвел толпу неторопливым, бесстрастным взглядом.

— Что вы раскричались? — спросил он по-турецки. — В доме человек спит.

И снова закрыл тяжелую створку ворот.

Сразу стало так тихо, что, казалось, можно было услышать, как кирпичная пыль оседает на головы, на плечи, на землю. Заступы и кирки стали лишними, люда начали переглядываться, не зная, что делать дальше. Все будто только теперь вспомнили, что в доме спит вечным сном женщина, и ей, как всякому спящему человеку, нужен покой.

В эту минуту мастер снова отворил ворота и обратился к мулле:

— Мирза Али, войди в дом, не тебе у порога стоять. Хаджи Кярим, Сафар, и вы войдите. Уважаемые люди квартала следом за муллой вошли в дом.

Мастер еще не успел затворить ворота, когда за углом взорвался топот копыт и на улицу влетел фаэтон. Все повернулись в ту сторону. В фаэтоне сидела мать мастера Мкртича. Шаль сползла с ее головы, обнажив седые волосы; растопыренными пальцами женщина вцепилась в свои седины, словно собиралась расчесывать их. Крепко прикусив нижнюю губу, она глухо стонала: «Ммм... ммм...»

Как успела эта весть так быстро, раньше всех, долететь к ней, на другой конец города?

Мастер бросился навстречу матери, помог сойти с фаэтона и шепнул:

— Не убивайся, не стоит она твоих слез...

Остолбенев от неожиданности, мать недоуменно смотрела на сына.

— Входи, там скажу...

И почти сразу же началось столпотворение. С грохотом мчались фаэтоны, сбегались ото всех сторон люди, на улицу хлынула толпа и затопила ее. Все кинулись к тем, кто уже стоял перед домом, градом посыпались вопросы.

На маленькой улице негде было повернуться от людей и фаэтонов. Потом они запрудили и соседние улицы. Шум стоял невероятный, все старались протолкаться поближе к дому, узнать, увидеть, что за беда стряслась с мастером Мкртичем. Каждого жителя турецкого квартала окружали плотным кольцом и засыпали вопросами. Но и турки знали немного. Самое главное, однако, знали все: у Эгнар, жены мастера Мкртича, был любовник-армянин, они встречались в доме Хабибы. Мастер застал Эгнар в доме, и она умерла на месте от разрыва сердца.

Но вот как мастер раскрыл измену и кто любовник — этого никто не знал.

Один только мясник Кули, который в тот день не ходил на базар и днем был дома, рассказывал, что час назад прибежал к нему Сафаров мальчишка и сказал, что Эгнар собирается бежать. Потом примчались остальные Сафаровы дети и сказали, что пришел армянин. Но пока мужчины подросли, парень успел сбежать, а Эгнар умерла.

В конце концов несколько уважаемых гюмрийцев — армяне и греки — сумели пробиться к воротам. Протиснулись к воротам друзья мастера Мкртича, родственники Эгнар, растерянные и пристыженные. Попробовали толкнуться в ворота, но они оказались на запоре. Подумав, один из почтенных людей поднял железную колотушку и постучал. Все вздрогнули — так мрачно и глухо прозвучали удары колотушки.

Ворота отворились. Вышла мать мастера. Она была совершенно спокойна, и голова ее уже была покрыта, как положено, шалью, только губы были плотно сжаты, да лицо суровее, чем обычно. Она посмотрела на толпу (все сразу притихли) и сказала:

— Идите по домам, дети мои.

Потом твердым шагом вошла обратно и закрыла за собой ворота.

10

Эгнар лежала на полу, на ковре. Ее покрыли другим ковром, снятым со стены. Ковер закрывал все тело, открытыми остались только лицо, обрамленное черными волосами, да зеленые туфли. Ее мраморное лицо было очень бледно. Казалось, она просто спит.

По обе стороны мертвого тела сидели, поджав ноги, мастер Мкртич, мулла, хаджи Кярим, мать мастера и старшая жена муллы. Ибрагим стоял у дверей, растерянный, с опущенными руками. На неподвижных и безмолвных людей лился через разноцветные стекла таинственный, призрачный свет. С улицы в комнату не проникал ни единый звук, и неизвестно было, еще шумит там толпа или уже разошлась.

— На нас вина, — раздался, наконец, тихий, словно само молчание, голос муллы. — Дом Хабибы давно надо было снести.

— Снесем! Вынесут баджи — следа от него не оставим, — процедил хаджи сквозь стиснутые зубы...

После этих слов снова наступила тишина. Мастер Мкртич поднял голову, оглядел всех и бесстрастно сказал:

— Есть у меня одна мысль... Хочу похоронить грешницу в доме ее греха...

И снова опустил голову.

Мулла и хаджи переглянулись.

— Дом будем сносить, — сказала старшая жена муллы, не глядя на мастера: в ее глазах полыхал такой гнев, что она боялась, как бы мастер не разглядел его даже сквозь чадру и не обиделся.

Глухой, словно из глубин вечности, донесся стук в ворота.

Ибрагим пошел открывать.

Вошли протоиерей и протодьякон главной городской церкви. Протодьякон держал под мышкой рясу и молитвенник. Все встали. Протоиерей торопливо подошел к мастеру Мкртичу и пожал ему руку. Но когда он подошел к матери мастера, она, приложившись к руке, сказала:

— Возвращайся, святой отец, не оскверняй креста.

Всех словно обдало холодной водой.

— Душа грешницы... — возразил было протоиерей.

— Душа грешницы отправилась, куда ей положено, — оборвала старуха.

Священник и дьякон переглянулись, попрощались и ушли.

Ибрагим проводил их и запер ворота. Когда он вернулся, все снова сидели, как и раньше, безмолвные и неподвижные.

— Мы не станем перечить мастеру, — вернулся хаджи к прерванному разговору. — Он верно решил, пусть грешница останется в доме своего греха...

— Дом будем сносить, — повторила жена муллы. — Если брат наш Мкртич согласен, пусть хоронит здесь.

— Что скажет мастер? — спросил мулла.

Все посмотрели на мастера.

Он долго молчал, думал. Потом сказал:

— Дом мне не нужен. Дайте сроку сорок дней — и ломайте.

— Сорок дней? — недоуменно спросил мулла.

— Камень поставлю на могиле, — пояснил мастер.

Мулла, хаджи Кярим, Сафар, Ибрагим и старшая жена муллы дали согласие — от своего имени и от имени всего квартала.

11

Явились судебные и медицинские чиновники и занесли этот случай в протокол как скоропостижную смерть по невыясненным причинам.

12

Эгнар похоронили в саду, на дне бассейна. Закрыли фонтан, вынули несколько плит со дна, вырыли под ними глубокую яму и опустили гроб. Потом снова сделали все как было и пустили фонтан. Вода серебряным прутиком взметнулась вверх, и скоро в бассейне разлилось, как и раньше, водное зеркало, и по нему побежала рябь от водяных брызг. К вечеру

все попрощались с мастером и разошлись. Мать попробовала было отговорить сына от опасного намерения оставаться одному целых сорок дней в этом мрачном доме, но он вместо ответа только поцеловал ей руку и попросил раз в день присылать с соседскими ребятами еду. Инструменты для работы он просил прислать сегодня же.

Когда в городе узнали о намерении мастера Мкртича, все как один решили, что могильная плита только предлог, чтобы не показываться на людях, пока свежо впечатление от этого невиданного и неслыханного позора. Но кому бы пришло в голову злорадствовать! Всех охватил ужас, словно при надругательстве над святыней. Да как она посмела, эта распутница, осквернить супружеское ложе всеми чтимого мастера Мкртича?! И кто это змеиное отродье, этот выродок, кто посмел соблазнить женщину, дотоле непорочную?

Сразу после похорон друга мастера взяли с собой детей Сафара и стали обходить подряд все базары, мастерские, лавки, чайханы, кофейни, трактиры, чтобы найти любовника Эгнар. В кармане у каждого был припасен для него на совесть отточенный нож. Но его нигде не было. То есть, может, и был, может, даже попадался и Сафаровым детям, да только они его не узнали. Мальчики, как видно, ничего не запомнили толком, кроме папахи. Похоже, парень снимал армянский картуз и надевал турецкую папаху где-нибудь за поворотом дороги, ведущей через огороды в турецкий квартал; там же, скорей всего, надевала или снимала чадру и Эгнар.

Правда, парня видел кое-кто из турчанок. Но видели мельком, вскользь, второпях, сквозь щелочку в чадре. Вряд ли они запомнили его лицо. А если которая и запомнила, она не посмела бы даже заикнуться об этом, признаться, что смотрела на мужчину, открывала лицо перед мужчиной, армянином, распутником! За такое тройное преступление без промедления сверкнула бы острая сталь, и еще одной женщиной стало бы на свете меньше...

Долгие поиски так ничего и не дали. Теперь вся надежда была только на бога: грянет гром небесный и поразит, испепелит нечестивца; господь не допустит, чтобы он безнаказанно осквернял землю и тем подбивал на грех и других себе подобных. Нужно было отмщение, воздаяние за грех. Все с трепетом ждали, когда же небо явит знамение, чудо, которое снова утвердит святости семьи. Но в самых дальних глубинах души почти у всех таилось сомнение: а будет ли оно, это чудо? И что оно утвердит, если произойдет? Так уж непременно — святость семьи? А не право на любовь?..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Варос, сын ювелира Вагинака, не останавливаясь, на ходу расстегнул ворот одежды. Нестерпимый жар жег, душил его, и он не мог понять, льется этот огонь с неба или сжигает его изнутри. Волосы юноши выбились из-под картуза и посерели от пыли. Глаза были измученные, в них исчезло дерзкое выражение, так смущавшее женщин. Он все озирался по сторонам, будто что-то искал, но ничего вокруг себя не видел. Один только раз Варос остановился и попытался взять себя в руки, понять хотя бы, где он. Вокруг были одноэтажные дома из черного и оранжевого туфа, со сводчатыми воротами, дверьми и окнами. Тихая, спокойная, совершенно безлюдная улица... Среди этой тишины и покоя еще невыносимее была буря, которая бушевала в его сердце.

Что делать?.. Что делать?..

Вон справа дом дяди Татоса. Может, зайти? Поделиться с тетей, рассказать ей все, чего не знает ни одна душа? А зачем? Что изменится?

Может, зайти к Паландженцам? Вон и их дом, по левую руку. Если Варос зайдет, вся семья выбежит ему навстречу, Гоар засмущается, но глаз не отведет, а улыбнется и кинет на него обещающий взгляд. Паландженцы хотят, чтобы он стал их зятем, а Гоар его любит. А зачем любит? Кому это нужно?

Или зайти вон в тот дом? Варос не помнил, а может, и не знал, чей это дом, но ведь ему надо всего-навсего кружку воды, залить огонь в груди... А зачем? Разве вода поможет?

Варос протянул руку к воротнику, хотел расстегнуть, но ворот и так уж был распахнут до последней пуговицы. Почему нечем дышать?.. День-то только начинается... Он потер шею, грудь. Может, напиться?.. И пойти пьяным к дому своей любви и своего греха и горько зарыдать у порога...

Варос тяжело вздохнул и пошел дальше. По обе стороны, молчаливые и замкнутые, стояли одноэтажные дома. С плоских кровель, как бы продолжая их, тянулись в сторону улицы жестяные водосточные трубы, выкрашенные в темно-красный цвет. Последнее колесо труб спускалось вниз, словно голова какого-то длинношеего животного. В довершение сходства на этих свисающих вниз отростках были вырезаны петушиные гребни, а кончались они зубчатыми щелями, похожими на собачьи клыки. Чудища с петушиными гребнями и собачьими клыками на конской шее кривили в ухмылке приоткрытые жестяные пасти, насмехались над Варосом.

Почти машинально он отворил ближайшую калитку и вошел во двор. По залитому солнцем двору расхаживали куры, стучали клювами по утрамбованной, выгоревшей земле — искали корм. Во дворе никого не было.

Варос подошел к дверям, чтобы попросить воды. Дверь была открыта и перегородена решетчатой дверцей в половину человеческого роста, чтобы куры не забирались в дом. Окна были тоже открыты.

— Матушка! — кликнул Варос.

Никто не отозвался. Видно, хозяйева были в тех комнатах, что выходят на улицу.

Варос пошел к колодцу посреди двора. Спустил в колодец ведро на длинной веревке, вытянул его наверх.

На скрип колодезного журавля вышел пожилой мужчина — хозяин дома. Варос его не заметил. Поднес ведро к губам, из него пахло колодезной сыростью. Варос увидел в воде

свое измученное лицо, потухшие глаза и так и не сделал ни глотка, поставил ведро на край колодца. Хозяин дома стоял рядом с ним.

— Что же не пьешь, сынок?

— Не хочется, дядюшка.

— А зачем тогда в наш двор пожаловал? — недоверчиво усмехнулся хозяин.

— Да не вор я, дядюшка! Я сын ювелира Вагинака.

— Сын ювелира Вагинака?!

Хозяин обрадованно схватил его за рукав.

— Заходи, заходи, сынок! Водка лучше воды.

— Спасибо, не надо, — отказался Варос. — Что водой не зальешь, водкой — и по-давно...

И пошел прочь. Хозяин недоуменно поглядел ему вслед и вошел в дом.

Когда Варос вышел на улицу и проходил мимо окон, одно из них распахнулось, и красивая молодая девушка проводила его долгим, говорящим взглядом. Ясно: хозяин решил, что Варосу приглянулась его дочка. Юноша горько усмехнулся.

2

Варос вышел за город и пошел по долине. Она тянулась, ровная и широкая, до самых гор, которые были не так уж далеко.

По левую сторону горизонт заслонял арсенал, за ним тянулась ложбина, которую называли Черкесский лог — удобное и красивое место для прогулок. За логом, на длинном холме, стояла такая же длинная, вытянутая в длину крепость. За нею, в долине, струил свои воды Ахурян.

По правую сторону был квартал, который называли Землеробским (дома там были на деревенский лад). Дальше шел Дзори Богаз, за ним — Дзитохчиев сад — излюбленное место прогулок гюмрийцев. Еще дальше, довольно далеко, находился вокзал.

И Черкесский лог и Дзори Богаз в этой верхней части города круто обрывались отвесной стеной; две речушки стекали с нее маленькими водопадами.

Варос огляделся и вздохнул полной грудью, легко и глубоко. Ему показалось было, что простор и прохлада освежили пылающее лицо. Но едва он прошел шагов сто, удушье снова схватило его горло. Ни поле не помогает, ни горы... Может, вернуться?

Он посмотрел назад, на город. От самых его ног, незаметно понижаясь, тянулся в ту сторону косогор; на нем, в неглубокой котловине, раскинулся город. С высоты он сливался в серое пятно, из которого то здесь, то там выступали, тянулись ввысь остроконечные крыши церквей; под солнцем ровно и светло горело золото крестов. А в другом конце города, на холме, далеко, так далеко отсюда, виднелся турецкий квартал.

— О-о-о... — застонал Варос не своим голосом и отвернулся. Невыносимо смотреть на этот город! Там кто-то виноват в гибели его любимой. Найти бы его, разорвать голыми руками! Не найдешь — вот что всего больше... Кто он? Мастер Мкртич? Нет. Он не только не тронул Эгнар, но еще и ставит плиту над ее могилой.

А может, он сам виноват?..

Сердце Вароса, наглухо запертое, как закрывают ставнями на ночь гюмрийские лавки, содрогнулось: эта мысль, словно запертая в пустом доме кошка, рванула его когтями. Но несуразная мысль, что Варос сам виноват в смерти Эгнар, мелькнула и исчезла.

Верно, он убежал, когда увидел мастера... Но ведь только затем, чтобы тот не увидел Вароса и не стал допытываться, каким ветром его занесло к туркам!

Варос долго ждал на безлюдном повороте дороги, когда же мастер уйдет, чтобы вернуться в турецкий квартал. И вдруг увидел: вихрем несется фаэтон, в нем мать мастера... И

сразу в сторону турецкого квартала помчались, обгоняя друг друга, фаэтоны с растерянными, встревоженными людьми.

Варос понял почти все. Он как безумный кинулся туда, где разразилась беда, но вдруг остановился. Куда он бежит? Зачем? Чтобы все узнали, кто любовник Эгнар? Нет! Молва окрестила его беспутным, никчемным. Никто не должен знать, что Эгнар опозорила супружеское ложе ради такого человека! Пусть думают, что она согрешила с кем-то, кто лучше, достойнее ее мужа. Может, меньше грязи выплеснет тогда город на могилу его любимой...

И Варос повернул назад и пошел бродить как потерянный по городу и по полям и бродит так по сей день.

А может, это город виноват в смерти Эгнар? Весь город, со всеми своими законами и обычаями, тот самый город, который обвиняет Эгнар и ее возлюбленного? В чем он их обвиняет? В любви? А кто сказал, что любовь — грех? Кто выдумал такой закон?!

А раз так, не лучше ли просто-напросто оставить Гюмри и пойти искать такое место, где, может быть, и честь семьи чиста и любовь — свята?..

Варос вздрогнул. Мысль об уходе озарила светом мрак в его душе. А ведь верно — бросить все и уйти! Чего ему жалеть в Гюмри?

Но тут ход его мыслей резко оборвался. Дзори Богаз! Это ведь его мир... Здесь он родился и вырос, здесь пришла к нему эта горькая любовь... Как уйти из Дзори Богаза? А не уйти нельзя... Нет, уйти, сегодня же, сейчас! Нет сил жить в Гюмри! Здесь все напоминает Эгнар, а Эгнар нет и никогда уж не будет...

Последний раз взглянуть на Дзори Богаз — и уйти навсегда...

3

Чтобы пройти в Дзори Богаз, Варос свернул вправо, к Землеробскому кварталу. Прошел мимо домов из нетесаного камня со стогами душистого сена на плоских кровлях, мимо гумен со стенами в половину человеческого роста, с гладкой, плотно утопанной землей. Прошел мимо зеленых полянок, на которых паслись козлята и потряхивали гривами стреноженные извозчицы лошади.

Вдруг квартал сразу кончился, земля как бы расступилась, и внизу, прямо под ногами Вароса, показался Дзори Богаз... На этом склоне, одна ниже другой, и на том склоне, одна выше другой, виднелись плоские кровли, виднелись неогороженные дворики, улицы, стояли тополя. Совсем внизу, словно расплавленное, но холодное серебро, струилась речка.

Дом мастера Мкртича стоял на другом берегу, прямо напротив Вароса. Окна наглухо закрыты, дверь тоже закрыта, даже колодец, и тот покрыт. Перед домом, в неогороженном дворике, тоже никого не было. Вдруг Варос увидел под деревом мать мастера. Она неподвижно сидела в тени, прижимая к себе внука, маленького Галуста...

А вокруг раскинулся Дзори Богаз, тот Дзори Богаз, где в один весенний день родилась любовь Вароса и Эгнар.

...В Дзори Богаз пришла весна. Таял снег, солнце ласково пригревало спину. Все вокруг было пропитано влагой. Свежо и пьяняще пахло мокрой землей. По склонам ущелья, извиваясь и сплетаясь, сбегали тоненькие струйки воды, переливисто журчали, булькали, поблескивали на солнце. Речушка в ущелье стала многоводной, вода в ней струилась холодная и прозрачная. Земля везде была набухшая, потемневшая от влаги, рыхлая, от нее шел густой пар, местами он уже редел, а подсыхая земля становилась светлее и тверже.

Небо было высокое, лазурное и сияло необычайно чистой и ровной голубизной. Пелена, которой было затянута солнце всю зиму, исчезла без следа, все вокруг снова озарилось чистым и ярким светом, и все предметы видны были ясно, как на ладони. До малейшей своей извилинки.

Окна и двери открыты настежь. Дома опустели, люди перебрались во дворы и на улицы и туда же вынесли вещи. На совсем уже сухих и плоских кровлях и во дворах лежали на солнце разноцветные тюфяки, одеяла, ковры, паласы, ковровые покрывала, белоснежные подушки. На веревках, протянутых между деревьями, на спинках вынесенных из дому стульев висела зимняя одежда, которую собирались укладывать в сундуки, и весенняя одежда, которую только что вынули из сундуков.

Варос сидел возле дома и любовался весной. Одну руку он положил на загривок большого белого пса; мягкая шерсть приятно грела. В этом живом тепле не было ничего от жара печи, это была теплота весны.

Варос глядел в безбрежную небесную синеву: высоко в небе с радостными криками тянулись в родные места караваны журавлей. Из голубой беспредельности доносилось их чудесное курлыканье — предвестник добра. Внизу, на земле, дети задирали головы к небу и что-то кричали журавлям, а старик, который грелся на солнышке у своего дома, каждый раз ласково отзывался на трубный клич: «Да, милые... да, милые...». Совсем рядом с Варосом висели перекинутые через веревку ковры. Их разноцветная стена нежилась в солнечных лучах и сама струила глубокое и мягкое тепло.

Вдруг Варосу захотелось подлезть, как в детстве, под перекинутые через веревку, сложенные вдвое ковры, почувствовать, как горят уши от прикосновений их жесткой, теплой изнанки, медленно пробраться через эту тесную темноту, пройти так сквозь весь ряд ковров, пока он вдруг не кончится. Тогда в глаза ударит яркий солнечный свет, лицо обдаст холодным воздухом в уши, вдруг освобожденные от ворсистых прикосновений, хлынут сразу все голоса весны: нежное журчание бесчисленных струек, шорох свежего ветерка, овеивающего лицо, гомон детских голосов, веселая возня и потягивание двух собачонок, которые делают вид, что сердятся друг на друга, звонкий смех соседской дочки, которая так расцвела за эту зиму.

Варос даже вскочил было, но спохватился, что он уже не маленький, смутился и снова сел. Под веревку ему уже не подлезть, рост не тот, да и жаркая темная дорога из нескольких ковров уже не покажется теперь такой длинной, как в детстве...

Варос посидел еще немного, встал, спустился вниз и пошел бродить по Дзори Богазу, упиваясь приходом весны. Он улыбался, сам не зная чему, смотрел на собак (они грелись у стен и млели от тепла), на речку (она стала полноводной и весело шумела) — и ни о чем не думал. Он чувствовал в себе какую-то необыкновенную легкость. Ноги шли сами собой, без всяких усилий с его стороны, даже грудь, казалось, не вздымалась и не опускалась, не надо было и дышать — воздух сам входил в ноздри и омывал легкие. То ли от легкости, то ли оттого, что земля была такая мягкая, юноша шел почти не касаясь земли, не чувствуя под собой ног.

Когда он поравнялся с домом мастера Мкртича, дверь открылась и вышла Эгнар — она выносила на улицу тюфяк. За тюфяком лица женщины не было видно. Но когда она разложила его на камнях у ворот и обернулась — Варос так и застыл, пораженный и восхищенный.

Кто она, эта красавица? Неужто жена мастера? Как же он до сих пор не замечал ее? Может, не встречал, не видел? Да нет, и встречал и видел, но был слеп, слепотой еще незрелого мальчишки...

Женщина улыбнулась и спросила:

— Что тебе, Варос?

— А ты меня знаешь? — удивился и обрадовался он.

— Ты разве не Вагинаков мальчик? Ювелира Вагинака?

Варос смертельно обиделся и потому ответил дерзостью:

— Вагинаков, но не мальчик... Пусти в постель — убедишься!

От слов Вароса и его вызывающего взгляда женщина покраснела, смущенно улынулась, закусила губу и быстро вошла в дом.

Варос пошел дальше. Он сожалел о дерзком ответе, но из юношеского самолюбия старался убедить себя, что поступил как надо. Он шел сквозь сказочную весну Дзори Богаза, и перед ним все стояли глаза Эгнар — огромные, черные и смущенные. Он был словно пьяный: весна и Эгнар переполняли все его существо, и он сам не знал, где весна и где Эгнар. Да, он поплатился за свою дерзость — безнадежной любовью к чужой жене.

Любит ли Эгнар своего мужа? Связывает их внутренняя близость или она просто тянет лямку (выдавали — не спрашивали)? Этого Варос не знал. Все равно: Эгнар была одна из самых добропорядочных женщин во всем Дзори Богазе, похвалы ее добродетели Варос слышал чуть не с пеленок. Нечего и надеяться хотя бы даже на простую симпатию этой женщины... да еще после такой дерзости .

В тот же день под вечер Эгнар зашла к ним в лавку. Там был только Варос. Он сразу заметил, что она в нарядной выходной одежде и подумал, что, пожалуй, проще было прийти в домашнем платье — дом-то совсем рядом.

Варос вскочил и подошел к женщине. Эгнар знала, что Варос в торговые дела не вмешивается; она осмотрелась по сторонам и спросила:

— А где твоя матушка?

Варосу опять почудилось, что это только предлог. А может, и не предлог: весь Дзори Богаз делал покупки в их лавке. Варос улынулся, схватил Эгнар за руку и, глядя в глаза, крепко пожал ее.

— Чего тебе, непутевый? — задыхаясь, прошептала Эгнар.

— Розу для моей весны...

Эгнар вдруг взглянула на юношу с невыразимой нежностью и вся потянулась к нему. Но тут же отшатнулась и бросилась к выходу.

— Приходи завтра к огородам... на дорогу... — догнал ее голос Вароса. — Я кое-что надумал...

Эгнар выбежала из лавки и пошла прочь так поспешно, будто слова Вароса гнали за ней по пятам. И тут же с ужасом вспомнила, что завтра воскресенье: ей ведь и а самом деле надо будет идти по этой дороге, через огороды, мимо турецкого квартала — на кладбище, на могилу дочки. Девочка родилась восемнадцать лет назад и умерла, не прожив и года. Восемнадцать лет подряд Эгнар каждое воскресенье ходила на ее могилу. Если не пойти в этот раз, что подумают, что скажут и муж, и, особенно, свекровь?..

...И вот, уже после того как они сняли дом в турецком квартале, Варос сидел по воскресеньям в своей лавке и, изнывая от нетерпения, не спускал глаз с улицы. Наконец, показывалась и проходила мимо Эгнар.

Потом они поняли, что так легко попасть в беду. Тогда Варос стал поджидать Эгнар в кофейне по дороге в турецкий квартал.

Варосу вспомнился мирный, уединенный приют, где цвела их любовь. Вспомнилось, как, прильнув губами к белоснежной шее любимой женщины, он с ребяческим удивлением думал: неужели мрамор или снег могут излучать такое тепло?

Каждый день, каждый день Варос будет вспоминать все это... Веки его сомкнулись, он покачнулся и еле удержался на краю отвесной скалы. Как жить в Гюмри без Эгнар? Нет — бежать отсюда, бежать... немедленно, сейчас!

Надо спуститься в Дзори Богаз, подняться на противоположный склон, дойти до Дзитохчиева сада, обойти его, пересечь еще широкую равнину, и только потом уже будет вокзал. Теперь, когда Варос принял решение, этот путь показался ему страшно длинным. А он спешил бежать, спастись от удушья, которое преследует его в этом городе, от своих мыслей, от воспоминаний, от горя, от самого себя.

Он медленно спускался в Дзори Богаз. И чем дальше он шел, тем полнее окружал его со всех сторон родной квартал. Тот мир, что остался вверху, перестал для него существовать.

Он пересекал одну улицу за другой и вскоре оказался уже на дне плоского ущелья, прямо у воды. С трудом сохраняя равновесие на гладких камнях, цепочкой проложенных поперек речки, перешел ее. Остановился, осмотрелся. Само ущелье хватало его за горло, старается задушить... Дзори Богаз, «глотка ущелья»... Борясь с удушьем, он задышал часто-часто, но грудь намертво сдавила тяжелая плита... Варосу стало страшно. Он кинулся вверх, на противоположный склон ущелья, чтобы поскорее избавиться от удушья.

Он добрался до долины и остановился, чтобы перевести дух. Обернулся, в последний раз окинул жадным взглядом Дзори Богаз и закрыл глаза, словно хотел запечатлеть и унести с собой образ родных мест... Когда он снова повернулся лицом к долине и открыл глаза, ему показалось, что Дзори Богаз уже где-то далеко-далеко... Долина тоже виделась необычайно большой и незнакомой. Он снова зашагал, чувствуя, как погружается в спасительное забытие.

Солнце уже опустилось на плечи дальних голубых гор. На Вароса упал прощальный луч, тоскливый, щемящий сердце. Последние лучи солнца скользили вдоль земли, и долина стала какой-то совсем незнакомой. Торопливо, словно он опаздывает куда-то, налетел и пролетел ветерок-ашуг, оплакивающий смерть солнца.

Тропинка пролегла сквозь теплое море золотых колосьев, потускневших в неярких лучах заката. Она была извилистая и узкая. Со всех сторон Вароса вплотную обступило поле. При ходьбе он задевал колосья; они с шорохом покачивались, уже зрелые и тугие.

Над ровной поверхностью поля, которому надвигавшиеся сумерки придали ржавый оттенок, то тут, то там поднимались отдельные колоски, которые были выше остальных. Солнце освещало их верхушки, и они горели в окружающей полутьме ярко и чисто, словно свечи за упокой души Эгнар. Далеко они или близко, сказать было трудно. Колос, который вроде был дальше всех, вдруг оказывался рядом с Варосом или прямо перед ним. Наступил тот миг, когда глаза слепит борьба умирающего света и нарождающейся темноты.

Варос чувствовал на своем лбу последнюю ласку угасавшего солнца. Он шагал, глядя вперед, вдаль, не видя ни колосьев, ни поля. Когда поле кончилось и его сменила твердая, каменистая целина, Варос этого даже не заметил, только зашагал быстрее, потому что вышел с узкой тропинки на простор. Под ногами сменяли друг друга то твердая земля с низкой и реденькой травой, то плоские, гладкие камни, торчавшие из-под земли.

Варос шел очень быстро, но все же чувствовал, как чередуются под ногами земля и камни, чувствовал не по тому, что тверже, а по тому, как доходит до ступней тепло — то больше, то меньше.

И вдруг он круто остановился.

Нет, не может он сегодня уйти из Гюмри! Ни сегодня, ни завтра... Вчера, в пятницу, истекли сорок дней, которые просил у турок мастер. Варос слышал от своих домашних: как только срок истек, жители турецкого квартала, вооруженные ненавистью и кирками, сравняли с землей дом Хабибы, выкорчевали сад, стерли подчистую все следы жилья. И теперь убрали обломки и выравнивали, укатывали это место, на котором будет площадь. Посреди площади, под единственным деревом остались только бассейн и надгробная плита, затянутые черным покрывалом. Завтра, в воскресенье, мастер должен снять это покрывало...

Варос пойдет на могилу Эгнар в воскресенье ночью. Его никто не увидит, и он сможет припасть к плите прощальным поцелуем, которым людские законы не дали коснуться ушедшей Эгнар. А когда простится — уйдет из Гюмри и побредет по неведомым, самому еще не ясным путям-дорогам...

Плоский камень, на котором он случайно остановился, сначала почти жег ноги. Но теперь ноги скорее холодило, и он понял, что стоит тут уже давно.

Медленным шагом Варос вернулся через то же поле назад в Дзори Богаз. Когда он дошел до гребня ущелья, в свете гаснущей вокруг вечерней зари стало видно, как там, внизу, длинный и темный, словно ночь, протянулся Дзори Богаз...

На противоположном склоне, усыпав его сверху донизу, горели во тьме, но не делали ее светлее, огоньки керосиновых фонарей. Местами они вытягивались цепочкой, местами были разбросаны как попало: выше, ниже, гуще, реже. Казалось, это мелкие искорки, которые окаменели в темной пустоте.

Кое-где, довольно далеко друг от друга, на высоких столбах горели газовые фонари. Свет ближайшего фонаря белым блюдцем падал на кусок улицы, выхватывал из темноты половину какого-то дерева, отражался в темных стеклах уже спящего дома без ставен. В другом доме сквозь ставни пробивались узкие желтоватые полоски света.

А на том склоне, где стоял Варос, в темноте чуть виднелись бледные квадраты плоских кровель, уступами спускавшиеся вниз. Между ними можно было различить квадраты побольше — темные дворы. Темные, устремленные вверх очертания деревьев, прорезали то там, то тут эту картину.

Это был Дзори Богаз, от каменистой и безлюдной своей окраины до широко раскинувшегося города. Словно целая река темноты, неся на своих волнах готовые угаснуть искорки, Дзори Богаз тек в город, чтобы слиться с ним...

4

На северной окраине Гюмри, где последние дома города поднимались к самой кромке просторной долины, находилось излюбленное место прогулок гюмрийцев — Дзитохциев сад.

Сад был за городом и в то же время как бы в городе. Слева от него, правда, довольно далеко, находился Дзори Богаз. Его не было видно, но присутствие его ощущали все. За Дзори Богазом можно было различить Землеробский квартал.

Справа от сада, хотя тоже довольно далеко, вырисовывался вокзал — длинная цепь серых строений и зеленых деревьев.

Выше сада была опять долина; желтые поля тянулись до самых гор, которые невысокой цепью подступали здесь довольно близко к саду.

Ниже сада, совсем рядом с ним, начинался город. Широкая короткая дорога вела от сада к одной из городских улиц и сливалась с нею. А дальше раскинулся под полуденным солнцем сам город — блестели на солнце стекла окон, горели золотом кресты церквей, тянулись ввысь остроконечные верхушки высоких тополей.

По воскресеньям с самого утра в Дзитохциев сад со всех сторон съезжались гюмрийцы. Сюда ездили не в мужской компании и не вдвоем, а целыми семьями. На фаэтонах везли самовары, чайную и обеденную посуду, еду. Правда, везли и выпивку, в сад приезжали музыканты и певцы, но присутствие женщин и детей сдерживало, умеряло кутежи.

Фаэтоны, которые мчались со всех сторон, на последней городской улице сливались почти в непрерывный поток. Мелькали копыта, мелькали ярко-красные и никелированные спицы колес, клубилась, искрилась в солнечных лучах белесая пыль. Улица наполнялась веселой переключкой извозчиков, щелкали кнуты, — фаэтоны старались перегнать друг друга, доносились смех, шутки, обрывки разговоров.

К полудню поток фаэтонов постепенно сходил на нет: они оставляли гюмрийцев в саду и возвращались обратно в город. Город тоже пустел. Зато в саду становилось многолюдно и весело.

Дзитохциев сад был, в сущности, красивый тихий лесок, поросший кустами великолепных роз. Но деревья стояли не сплошняком и густой тени почти не давали; розы тоже росли не везде. Роща была солнечная и веселая: молодые, еще негустые деревья росли вразброс, розовые кусты располагались между ними кучками или короткими рядами, а большие поляны между деревьями и розовыми кустами были покрыты невысокой, но густой травой.

Посредине сада, в окружении больших тенистых деревьев стоял красивый домик. Перед домиком был большой четырехугольный бассейн; вместо фонтана, бьющего посредине, как обычно, в этом бассейне на одной из стенок был укреплен головной камень родника; из блестящей трубы серебристой дугой спускалась в бассейн вода. Там, где струя родника прорезала водную гладь, расходились круги, вблизи небольшие, дальше они становились все шире и наконец гасли совсем. С противоположной стенки бассейна, прямо напротив родника, в воду вело несколько каменных ступенек. Нижние ступеньки были покрыты водой, на них, проходя сквозь воду, играли крупные солнечные блики. Вода колыхалась на последней ступеньке. То открывала, то снова покрывала, легонько пошлепывала ее.

Молодые парни с друзьями и девушки с подругами собирались у этого домика, почти скрытого в тени деревьев, окруженного кустами роз и сирени, среди нарциссов и гвоздик, душистого майорана и мяты, у солнечного бассейна, и предавались своим мечтам.

Ребятишки бегали кругом, играли в прятки в кустах.

В тени деревьев, на траве или на коврах, облокотившись на подушки или прислонившись спиной к деревьям, сидели мужчины и женщины. В пятнистой от солнца тени расстилали белоснежные скатерти, и те сразу исчезали под тарелками с едой, бутылками, полотнищами лаваша, столовой зеленью. У каждого куста бездумно тлели угли для шашлыка, отливал серебром или медью самовар, а в холодной воде бассейна стояли в корзинах бутылки с напитками. Со всех сторон, и издали и совсем рядом, звучала восточная музыка; играли негромко, чтобы не мешать друг другу и не нарушать тишины и покоя в саду.

И только в одном конце сада, прямо на земле, лежала могильная плита из блестящего черного мрамора. Высокая ива склонилась над нею, раскинула тень своих плакучих ветвей над половиной плиты, еще сильнее затемняя ее черное зеркало; на другой половине царило яркое солнце.

5

Собравшись кучками вокруг музыкантов, люди молча слушали, о чем без слов говорила с ними мелодия. То здесь, то там, словно в сонном видении, плыли в танце женщины.

И вдруг над этим мирным покоем разнесся громкий и сильный мужской голос:

— Эй, люди! Слушайте все! Эй...

У входа в сад стоял человек. Всеобщее внимание сразу сосредоточилось на нем. Музыка оборвалась, все голоса смолкли, стал слышен осторожный шелест листьев.

— Скорей!.. В турецкий квартал... Чудо! Чудо!.. С родником Эгнар...

Замерли, растворились в воздухе последние слова, вместе с ними словно растаял и сам вестник. Праздничный, веселый Гюмри еще секунду оставался в оцепенении — и взорвался сотнями криков:

— Фаэтон!.. Фаэтон!!.. Фаэтон!!!

В густых облаках пыли вихрем умчались в город несколько фаэтонов. Но разве столько их надо было? Однако фаэтоны вернулись в город и должны были снова приехать за горожанами только под вечер.

Двое-трое мужчин махнули рукой на скатерти, еду, выпивку, утварь — и побежали в город. Их примеру последовали многие другие. Те, кто приехал по-семейному, торопливо собрали вещи, поручили их своему или соседскому мальчику-подростку и тоже заспешили

в город искать фаэтон. Никто не хотел оставаться сторожить ковры, самовары, подушки, посуду.

В считанные минуты весь склон от сада до города и первую городскую улицу запрудила толпа. Потные, покрытые пылью люди спешили в город.

И вдруг навстречу им понесся топот копыт, показались взмыленные, скачущие во весь опор лошади — фаэтоны, фаэтоны, фаэтоны!

Стоило фаэтону поравняться с людским потоком — он в мгновение ока заполнялся до отказа, поворачивал назад и исчезал в клубах пыли и солнечного света. Фаэтоны стрелой проносились мимо ошарашенных городских, пересекали город с севера на юг и сворачивали на дорогу через огороды. Огороды вдоль дороги сжимали эту лавину, она становилась уже, но стремительнее.

Грозь разнести вдребезги фаэтоны и людей, лошади неслись в мыле и пене вверх по кособоку, к турецкому кварталу: фаэтоны летели за ними легко, как пушинки. словно пули, свистели в воздухе кнуты.

Влетев на первую улицу турецкого квартала, самые горячие из седоков, кому нетерпение помутило разум, соскакивали на ходу с бешено мчавшихся фаэтонов в безумном стремлении поспеть на место секундой раньше.

Там, где еще в пятницу стоял дом и сад Хабибы, теперь, в воскресенье, раскинулась просторная и ровная площадь. На ней сходились четыре улицы, по которым, теперь уже тихим шагом, ехали присмирившие от близости чуда люди. Они сходили с фаэтонов и благоговейно вступали на площадь.

Там ничего не было.

Площадь была пуста. Только посередине стоял бассейн из садика Хабибы. В нем уже не было фонтана. На одной из стенок бассейна, в тени единственного оставшегося дерева мастер поставил, как в Дзитохциевом саду, головной камень родника. Из родника текла вода, но не скапливалась в бассейне, а сразу уходила в землю через маленькое отверстие прямо под струей, и высланное плитам дно бассейна оставалось сухим. С противоположной стороны, напротив родника, в бассейн вело несколько каменных ступенек.

Со всех сторон нескончаемым потоком шли и шли притихшие, заранее холодеющие в ожидании чуда люди. Чтобы подойти поближе, они напирали на тех, кто был впереди, а те не сводили глаз с родника и, понимая, что чудо там, не решались подойти к нему вплотную. Но люди все шли и шли, все настойчивее напирали сзади, и первые ряды невольно малопомалу пододвигались все ближе к роднику Эгнар.

Где же оно, чудо?!

Толпа все прибывала, кольцо вокруг родника сжималось плотнее и плотнее.

Один из стоявших впереди вдруг взглянул повнимательнее на черный камень родника и прочел высеченные в рамке из красного камня слова:

«Жена — родник только для своего мужа. Никто другой не смеет пить из него».

Подошли вплотную и другие, прочли надпись и теперь все молча и недоуменно переглядывались: неужто в этом простом и для всех обязательном законе — все чудо родника Эгнар?

Люди, потные и пропыленные, растревоженные неутоленным любопытством и нераскрытой тайной, смотрели по сторонам и друг на друга. Наконец один из них устало вздохнул, снял картуз, обтер потное лицо и начал спускаться по ступенькам в бассейн, чтобы напиться из родника. Но едва он ступил на дно бассейна, как побледнел, простерся перед родником и воскликнул, охваченный ужасом:

— Прости, господи, прости... отпусти грех! Я не хотел... Не святотатец я... Не знал, господи... Велико знамение твое...

Потрясенная толпа не сводила глаз с трубы родника. Едва человек спустился в бассейн — родник иссяк! Все увидели, что бог сам, своим знамением подтвердил высеченные на камне слова: «Жена — родник только для своего мужа. Никто другой не смеет пить из него».

Еле держась на ногах, перепуганный своим невольным святотатством, гюмриец с трудом выбрался из бассейна. И сразу же снова полилась из родника прозрачная вода.

Никто не осмеливался еще раз проверить божье чудо. Но и глазам своим не верили: никто из них никогда прежде не видел чуда... В конце концов решился войти в бассейн еще один. Вода снова иссякла. И тут, вместе с ним, рухнули на колени все, кто был на площади — армяне, турки, греки. Все били себя в грудь, все восклицали:

— Помилуй, господи! Помилуй!.. Помилуй...

И второй смельчак тоже еле сумел отойти от родника, ноги его не держали.

Прерывистым шепотом, еле шевеля побелевшими губами, чудо пересказывали тем, кто стоял позади и ничего не видел. Те начали нетерпеливо и возбужденно протискиваться вперед. На этот раз передние беспрекословно пропускали их вперед, чтобы и те увидели, как сам бог подтвердил старый закон о святости семьи, как высший судья осудил уже осужденного людьми нечестивца, который преступил этот закон...

Охваченные трепетом, люди снова и снова проверяли божье чудо: кто спускался в бассейн по ступенькам, кто прямо спрыгивал с кромки. Все убеждались, что никому не дозволено напиться из родника Эгнар, и отступали в задние ряды, охваченные глубоким раскаянием: как же они дерзнули не верить в божье чудо, пока не убедятся самолично, своими глазами? И давали обет в следующее воскресенье принести жертву у храма Богородицы и кровью жертвенной овцы смыть с себя грех неверия и гордыни.

Какая-то женщина, с остекленевшим от ужаса взглядом, упала на колени в бассейне и, глядя на иссякший родник, неслышно шептала:

— Прости, господи, прости! Я думала, что Эгнар не так уж грешна перед богом и людьми...

Толпа глядела на нее, и хотя никто не слышал слов, все видели ее раскаяние. Когда она вышла из бассейна, туда спустился вымаливать прощение мужчина, который в глубине души тоже не слишком осуждал любовника Эгнар. И все, кто спускался в бассейн придавленные грузом своих грехов, выходили очищенными; им навсегда врезался в душу, в самые сокровенные ее глубины, выбитый на камне закон.

К роднику подошли и спустились вниз брат Эгнар, ее подруги, ее родственники. Но родник мгновенно иссякал, и закон, выбитый на нем, говорил им, что хозяин замужней женщины — только муж, и на нее нет прав ни у брата, ни даже у родной матери...

Высеченные на камне, окаменели над родником слова грозного закона. И все, кто видел, как этот закон подтвержден свыше, преклонил перед ним колени.

6

Солнце заходило. Теперь его косые лучи падали на толпу как бы издали, едва касаясь. Прошло уже немало времени, но люди не расходились. Наоборот, толпа все прибывала: подоспели и те, кто вернулся с берега Ахуряна, из других мест, где отдыхали и веселились гюмрийцы по воскресеньям; последние капли выжимал из себя и город. Улицы и новая площадь, которые еще недавно как-то вмещали все-таки толпу собравшихся, были забиты до предела. Теперь уже весь турецкий квартал целиком обратился в онемевшее перед чудом людское море. В центре толпы тихо и безмятежно струилась прозрачная вода самого обычного, ничем, вроде не примечательного родника. Но чудо, истинное, много раз проверенное чудо, которое все видели своими глазами, сделало бесхитростное создание че-

ловеческих рук чудесным и святым. Стояла полная тишина, и по ней было видно, какое благоговение и какой страх пробудило в людях это чудо.

И вдруг, словно удар грома, взорвался в тишине бешеный крик; он несся с окраины квартала и приближался неудержимо, словно кто-то изо всех сил убежал от убийц или, напротив, бежал во весь дух, чтобы ударить и убить самому.

Людское море раскалывалось перед бегущим человеком, словно рассеченное мечом, и он без помех приближался к роднику. Похоже было, что на бегу он в безумной ярости захлебывается чудовищной бранью, но разобрать хоть что-нибудь в бессвязных выкриках было невозможно.

Еще не видя его, сами не зная как, люди поняли, что это и есть любовник Эгнар. И узкий проход в толпе раскрылся перед ним до самого родника.

— Где? Где чудо? — загремел страшный голос, и показался Варос. Невидящим взглядом он обводил толпу, наводя ужас на тех, кто стоял близко; они шарахнулись от него во все стороны.

— Где? Покажите, где?.. — снова закричал Варос. — Так ваших предков, так ваших потомков, всех вас так и перетак... Кто сказал, что жена — родник только для мужа? Любовь — вот кто хозяин, а не муж! Где родник? Я, я буду пить из него, сколько захочу, досыта... Моя и любовь, и вода... Любовь — от бога! Любовь — вот закон!

Растрепанный, запыленный, потный, он, тяжело дыша, снова обвел толпу безумным взглядом. Казалось, вот-вот кинется на кого-нибудь и задушит... Люди попятились, и узкая тропинка перед ним стала широкой столбовой дорогой.

Теперь Варос увидел, наконец, родник. Кинулся к нему. Приостановился у бассейна, посмотрел на воду, прочел надпись — и уверенно спустился в бассейн.

Как и перед всеми остальными, вода перед ним иссякла.

— Эгнар! — вскричал Варос.

Вся площадь вздрогнула.

— Это я, жизнь моя! — вырвался тяжкий стон из груди Вароса, словно в него ударила молния. — Неужто не узнаешь меня?!

Из трубы иссякшего родника скатилась последняя капля. Варос не отрываясь смотрел на родник. Он никак не мог поверить, что случилось невероятное, что сам бог так зримо, так очевидно отверг права любви и утвердил святость семьи...

— Горе мне! Вода иссякла! — воскликнул он наконец, содрогаясь от ужаса.

Он растерянно огляделся, словно просил взглядом о помощи. Но люди смотрели на него безучастно. Было странно, что никто не шевельнулся, никто не схватил камень, чтобы убить его: все было бы лучше, чем эта тупая, безучастная неподвижность.

Варос снова посмотрел на родник, с трудом одолел те несколько шагов, что разделяли последнюю ступеньку и родник, положил руку на трубу и стал бессмысленно поглаживать блестящий металл. И вдруг, неожиданно для всех и для самого себя, бросился на колени:

— Прости меня, боже! Прости меня, Эгнар!..

Слова его полоснули толпу, словно удар кнута.

— Прости меня, боже! — повторил Варос и одним рывком разорвал на себе и верхнюю и нижнюю рубаху. — Отпусти грех рабу твоему! Я думал, ты возвысишь любовь!.. Прости меня, господи!

Он иступленно бил кулаками в обнаженную грудь. Обрывки разорванной одежды беспомощно вздрагивали.

— Прости, Эгнар, прости! Моя вина, что ты загубила и тело свое и душу... Прости меня, любовь моя... Тело твое не охладить этой струйке, а душа горит в вечном огне....

Он встал и бросился с обнаженной головой, с голой грудью к выходу из бассейна.

— Да простит тебе бог, Эгнар, что ты приняла мою адом посланную любовь! Да простит тебе бог, жизнь моя, что однажды ночью ты привиделась мне и научила как погубить тебя...

Он снова метнулся назад, прижался губами к иссякшей трубе родника:

— Босиком пойду в Иерусалим, Эгнар... Вымолю у гроба господня отпущение нашему греху...

Он сбросил и отшвырнул в сторону обувь и носки, повернулся и вышел из бассейна, чтобы прямо отсюда отправиться в невообразимые дали, к священному городу. Но Гегам, средний брат Ераноса, встал у него на пути, сжимая омытый кровью и водкой нож.

— Стой! Твой Иерусалим близко!

Варос остановился и безропотно повернулся грудью к мстителю. Гегам поднял нож, чтобы с силой опустить его, но тут чья-то рука отечески властно остановила его занесенную руку.

— Не надо, сынок, — спокойно посоветовал неведомо откуда появившийся мастер Мкртич. — Пусть идет. Дорогу в божий град не преграждают.

Узнав нож в руках юноши, он грустно улыбнулся и с сожалением покачал головой.

— Я же говорил тебе: из этого ножа все зло вышло, одно добро осталось. Этим ножом человека не убьешь.

Повернулся к Варосу, махнул рукой: иди...

Варос повиновался.

Когда он, сгорбленный, словно состарившийся на глазах, босой, без шапки, полунагой, весь покрытый пылью, исчез из виду, мастер Мкртич перекрестился, медленно сошел в бассейн, подошел к роднику и у всех на глазах напился из родника Эгнар... Кончил пить, снял картуз, отогнул полу архалука, вынул из-за пояса большой, свисавший почти до земли ярко-красный платок, стер с высокого лба бисеринки пота, еще раз взглянул на чистую струю, вышел тем же медленным шагом из бассейна и пошел прочь.

Все смотрели ему вслед и видели, как неторопливо и величаво уходит высокий, худощавый мастер Мкртич, знаменитый строитель родников.

Проводив его глазами, толпа разом обернулась к роднику Эгнар.

Чудо кончилось. Вода иссякла навсегда.

7

Явились судебные и медицинские чиновники, увидели совершенно безводный родник и занесли этот случай в протокол, как обман зрения по невыясненным причинам.

8

И вошло в обычай: будь то на улице или в доме, во время пирушки или во время работы, — поздоровавшись со знаменитым мастером, гюмрийцы говорили про себя, провожая его глазами:

— Благослови тебя бог, мастер Мкртич...

ЭПИЛОГ

1

На склоне холма, там, где раньше стоял турецкий квартал, теперь не было ничего. Хотя внизу, как и прежде, расстилались огороды, за ними — город, а на горизонте по-прежнему виднелся подернутый голубоватой дымкой Арагац, хотя все вокруг казалось незыблемым, поставленным на века, — турецкий квартал исчез, как будто его и не было.

На опустевшем косогоре под ярким солнцем качались головки ромашек — белые венчики вокруг желтой выпуклой сердцевины. Склон стоял весь белый, так много их там было. Казалось, эта, залившая весь косогор белизна, — могильный саван, вестник скорби и утраты, окутавший безвозвратно исчезнувшие жилища безвозвратно ушедших людей.

Когда острота первого впечатления притуплялась, глаз начинал различать и подробности. Там, где почва была каменистая, ромашки потеснились и уступили место белым и желтым бессмертникам. Их плоские, плотные головки, составленные из множества мелких цветков, усеивали землю. Глядя на эти цветы, трудно было разобрать, которые из них живые, а которые уже нет. На то они и бессмертники — головки всегда белые или желтые, стебли всегда блекло-зеленые, почти серые и пахнут они — живые и неживые — тоже одинаково.

Бок о бок с бессмертниками рос анис. Окраской и формой листьев он очень походил на бессмертники; казалось, это то же самое растение, только на анисе не было цветов, да и запах у него был другой, он скорее напоминал о чем-то съедобном.

Под белым покрывалом ромашек, плотно прижавшись к земле и друг к другу, теснились заросли пастушьей сумки, которую здесь называют «птичий запас»: она считается съедобной. Это были низенькие кустики из нескольких ярко-зеленых овальных листьев, выходящих прямо из земли.

В разных местах косогора попадались вросшие в землю камни. На их южной, солнечной стороне росли одни цветы и травы, на тенистой северной стороне — другие. Под солнцем рос конский щавель с высоким красным стеблем, похожим на камышовый, с зелеными, словно приставленными к стеблю листьями. На верхушке стебля, в неплотном удлиненном соцветии-метелке созревали ржаво-охристые семена.

Рядом с конским щавелем рос терновник, весь утыканный острыми колючками, росла ядовитая белена с высоким кустистым стеблем и глубокими грязно-белыми чашечками цветов, похожими на отвислые собачьи уши.

А на теневой стороне стлались по земле каперсы — «змеиный цветок» — с яркими желтыми головками и блестящим, гладким и тугим стеблем, который и в самом деле напоминал змею. Стебель был полый, и если его надломить, на изломе появлялась белая капля — змеиное молоко.

Но истинным порождением тени и влаги была жеруха, которая росла там, где почва посуше. Жеруха тоже годилась в пищу. У нее были длинные изрезанные листья; в пору зрелости появлялись очень мелкие белые цветочки.

Исконным обитателем тенистых и влажных мест было и высокое растение, которое здесь называют «дурья трава». Его толстый темно-зеленый стебель, сочный и всегда холодный, словно пропитанный водой, можно было употреблять в пищу, но считалось, что едят его только отпетые дурни, и кто поест — тоже одуреет. Стоило сорвать «дурью траву» — спесивый стебель и крутые листья разом обмякали и превращались в зеленую тряпку.

Там, где эти растения не приживались, землю покрывала совсем низенькая, мелкая, похожая на лишайник травка, словно выкрашенная зеленой краской. Над ней изредка поднимались тонкие, как спица, стебли мыльнянки с голубоватыми, тонкими, как волосинка, веточками соцветий, торчащими во все стороны, и на их концах — беленькими, очень мелкими цветочками, которые превращали кустик в круглое, туманное облачко.

Солнце заливало косогор ясным спокойным светом. И если даже в его ярких лучах все-таки нельзя было обнаружить следов прежней жизни, виною тому были гигантские лопухи, которые здесь называют «бесова плюха», то есть пощечина сатаны. Каждое растение состояло из одного-двух громадных, стелющихся по земле листьев. Впечатление было такое, будто ветер сорвал с необыкновенного, огромного дерева живые, зеленые, огромные листья и усеял ими землю. Если наклониться и отогнуть широкую зеленую лопату «бесовой плюхи», под листом еще можно было разглядеть гаснущие следы угасшего квартала: чуть заметные остатки фундамента, булыжник, оббитый черепок.

Вперемежку с «бесовой плюхой» бурно разросся подорожник. Его листья казались уменьшенной копией «плюхи», только они были гладкие и твердые. У подорожника была слава целебной травы: его листья прикладывали к ранам, чтобы быстрее затянулись. Но они еще не успели до конца затянуть скорбные следы ушедшей жизни и исчезнувшего жилья, прикрытые сверху листьями «бесовой плюхи».

Много разных трав и цветов росло на косогоре, но хозяйками положения были все-таки ромашки. Их белые потоки заливали весь склон, стекались со всех сторон к большой ровной площадке посреди косогора и охватывали ее плотным кольцом. На площадке росли уже другие цветы и среди них, под давно засохшим, безжизненным деревом стоял давно иссякший и тоже безжизненный родник Эгнар.

* * *

Миновав огороды, Галуст поднялся по косогору, и сразу рассеялись опасения, что не удастся найти родник, носящий имя матери: на этом пустынном склоне головной камень родника был единственным, что возвышалось над зеленым ковром, и он бросался в глаза еще издали.

Спускаясь на арбах по ведущей в город дороге, крестьяне, завидев родник, нередко подбегали к нему напиться. Увидев, что родник мертв, они разочарованно осматривались, читали надпись, на миг останавливались в недоумении, потом поворачивались и бегом догоняли свои арбы, которые тем временем успевали выехать на дорогу через огороды.

Галуст обрадовался, что так легко нашел родник, но почти сразу радость сменилась горьким беспокойным чувством. Наверно, надо было прийти попозже, смирить прежде тревогу души, взять себя в руки. Ведь под этим родником лежит его мать, облик которой неумолимое время уже совсем стерло из памяти.

По одну сторону родника росли алые горные маки. Яркие, горячие, они пламенели в лучах солнца, словно кровавая рана. Россыпи маков казались кровью, пролитой давно, но еще живой, свежей...

По другую сторону росли лютики. Их мелкие ярко-желтые цветочки очень напоминали маки. Они были словно маки, облитые золотом (не зря их называют еще «золотоцветом»), или кровь, превратившаяся в солнце.

Края бассейна, в котором стоял родник, оплели волнистые бледно-розовые проволоочки вьюнков с похожими на воронки белыми, далеко отстоящими друг от друга цветами. Нити вьюнков свешивались и вниз, на дно бассейна. Ветер нанес туда мелких камушков, песку; по углам водоема лежала кучками сухая, выцветшая пыль — свидетель и свидетельство давней смерти родника.

Каменные ступеньки и плиты, устилавшие дно бассейна, сохранились неповрежденными, только кое-где сквозь трещины пробивалась трава, словно старалась раздвинуть камни, отодвинуть их друг от друга.

Галуст спустился в бассейн и с минуту стоял в нерешительности, не зная, с чего начать. Потом подошел к роднику, взялся за короткую блестящую трубу, проверил, нельзя ли ее повернуть, не в ней ли разгадка тайны...

Труба не поворачивалась. Головной камень тоже стоял крепко.

Галуст наклонился к подножию родника.

— Ты что это делаешь, парень?

Вздрогнув от неожиданности, он поднял голову.

На краю бассейна стоял хаджи Варос.

— Что делаешь, Галуст джан? — повторил он, узнав сына Эгнар.

— Пришел на могилу матери, — сказал Галуст и сел на край бассейна.

Хаджи сел рядом. Галуст молча смотрел на него. Он знал историю хаджи и своей матери. Потом юноша обнял его за сутулые, согнутые горем плечи и спросил:

— А ты что тут делаешь, хаджи?

— Я-то? Я каждый день сюда хожу. Смотрю, молюсь... Мне сорок пять, двадцать пять в грехах прожил, пять ушло на дорогу в Иерусалим и обратно, а остальные пятнадцать — молюсь за грешную душу Эгнар. Услышит меня господь, нет ли — не знаю. Я ведь еще грешнее...

Варосу было далеко до старости, но голова у него была совсем белая, глаза потухшие, без жизни, без огня.

— Хаджи, ты помнишь мою мать?

— Как живая в глазах стоит... — глухо прошептал хаджи.

— Какая она была, хаджи?

Хаджи не ответил. Он задумчиво посмотрел на сухую трубу родника и молча опустил голову. А когда заговорил, то это был не ответ на вопрос Галуста, это были собственные его мысли:

— Святая женщина была, сынок... Любовь за грех считала, за любовь муки приняла, в муках за грех любви и жизнью заплатила... кому под силу с богом спорить? Вот, читай сам...

Он показал на надпись на роднике и — кто знает, в который уже раз! — прочел ее вслух.

— Теперь, мой мальчик, совсем другое дело, теперь любовь и семья заодно, каждый может любить кого сам выбрал, сам может семью свою строить. Человек стал сам себе хозяин. Чудес больше не бывает, бог перестал в дела людские вмешиваться.

Помолчал и добавил:

— В наше время не так было. Чудеса бывали. Не веришь? Кому ни говорю про чудо родника Эгнар — не верят, смеются — и грешат. Что тут поделаешь? Недаром говорится: лучше раз увидеть, чем сто услышать. Значит, сколько ни тверди людям — толку мало. Своими глазами должен человек увидеть, сам должен проверить...

— А вдруг кто-нибудь разберет родник Эгнар? — неожиданно спросил Галуст. — А, хаджи? Люди хотят все знать, этому не помешаешь. Все может случиться...

Хаджи был, видимо, взволнован. Положил дрожащую руку на колено сыну Эгнар и прошептал:

— Сам этого боюсь... Потому и хожу сюда каждый день: слезу. Кто сунется — убью, бог свидетель! Зарежу на месте...

Угасшие глаза хаджи ожили, засверкали от гнева. Но это длилось недолго: миг, другой — и они снова потускнели, стали бесцветными и безжизненными. Он встал.

— Уже уходишь, хаджи? — спросил Галуст.

— А ты разве не идешь? — удивился тот.

— Нет. Хочется побыть одному на могиле матери.

Хаджи с благоговением склонился перед сыновними чувствами Галуста и, ссутулившись, медленным шагом пошел вниз по склону холма. Галуст проводил его взглядом, и как только тот исчез из виду за крутизной косогора, быстро закатал рукава и принялся за работу. Инструментов он с собой не захватил, все пришлось делать голыми руками. Это было нелегко и требовало много времени. Наконец, он вынул по одной тяжелые каменные плиты и уложил на край бассейна. Галуст работал очень осторожно, бережно, чтобы ничего не попортить, когда откроется, наконец, тайна.

Когда дно бассейна целиком обнажилось, Галуст принялся тщательно осматривать его. Дно было сплошь покрыто несложным металлическим устройством, сейчас уже поржавевшим. Под каждой плитой был рычаг, конец которого уходил под головной камень родника и соединялся там с концами других рычагов. Стоило наступить на любую плиту — конец рычага поднимался и перекрывал воду.

Галуст без труда разобрался и в том, как его отцу удалось напиться из родника. Спустившись со ступенек, надо было одновременно поставить ноги на две разные плиты. Тогда рычаги под ними сцеплялись между собой и не поднимались наперерез воде. А окончательно родник иссяк потому, что мастер Мкртич незаметно повернул ногой круглый камень у стока. Под камнем был железный лист, он сместился и закрыл дорогу воде. Галуст снова повернул камень — из безводного вот уже двадцать лет родника снова потекла прозрачная вода.

И тут тишину вдруг пререзал хриплый возглас:

— Горе мне!

У Галуста оборвалось сердце.

На краю бассейна снова стоял хаджи Варос. Ошеломленный неожиданным зрелищем, он во все глаза смотрел то на ржавые железные рычаги, то на текущую из родника воду.

— Горе мне! — повторил он и спрыгнул в бассейн. — Что это?

Не отвечая, Галуст наступил на один из рычагов — вода перестала течь. Потом снял ногу с рычага — вода потекла снова.

Но хаджи уже все понял и так. Он смотрел и смотрел, не отрываясь, и снова, словно только что увидел, воскликнул:

— Что это?!

Дрожащей рукой он рванул ворот рубахи.

— Значит — все обман!.. Весь город поверил... весь город осудил нас с Эгнар. Любовь не смела голос поднять... Право семьи стало превыше всего... Весь Гюмри...

Голос хаджи все слабел и наконец стал совсем неслышен, хотя губы продолжали шевелиться. Вдруг он оборвал бормотание, быстро наклонился к воде, взгляделся в нее, страхась коснуться губами или руками, не веря, что вода течет невозбранно. Потом схватился за голову и иступленно вскрикнул:

— Горе мне! На что моя жизнь ушла?!

2

Необычно медленным, необычно тяжелым шагом ехали к Ахуряну два фаэтона. Рыдание слышалось в движении колес, в самой поступи коней; с фаэтона лилась музыка, глубокая к стонушая, словно рыдание, и уносилась далеко-далеко, чтобы вернуться из дальних далей уже слабым отголоском. Давно вступил в свои права день, солнце стояло в зените, а фаэтоны только еще спускались в долину. Когда они доберутся до реки? Кто знает...

В одном из фаэтонов сидели все те же любимые музыканты мастера Мкртича — барабан и две зурны; с ними был мастер Аветик, тот самый, что всю жизнь строил мосты. В горькой печали сидел он, опершись о борт фаэтона, положив голову на руки, и слушал.

Во втором фаэтоне седоков не было.

* * *

Фаэтоны вернулись в город, а Аветик расстелил скатерть в тени одинокой ивы. Река струилась у самой скатерти, и влажная пыль кропила выглянувший на солнце край.

Для музыкантов он подтащил три удобных камня. Поставил перед ними водку, стопки, положил закуску. Отсутствующему мастеру Мкртичу отвел лучшее место во главе застолья, у ствола дерева. Расставил семь стопок, разлил водку. Рядом со стаканами друзей положил лучшие куски шашлыка и прочей снеди. Сам сел на свое постоянное место. Посидел молча, опустив голову. Понурившись выслушал рыдающую мелодию. Когда последние ее звуки растаяли в прохладной листве, он поднял свой стакан, коснулся стакана мастера Мкртича и сказал:

— В этот последний раз первый тост за тебя, друг. Смерть — это очень надолго... Пусть такой же долгой будет и жизнь твоя среди людей, мастер...

Он снова чокнулся и выпил свою стопку. Потом по очереди взял стакан мастера Мкртича, стакан Онеса, стакан Каро, стакан Агаси, стакан Баграта, стакан Саркиса — и выплеснул водку в реку. И вода унесла ее.

Потом снова разлил водку по стопкам и с укором обратился к друзьям:

— Что ж это, я один должен все делать? Наливайте, руки не отвалятся... что вы, в самом деле?..

* * *

Солнце село.

Аветик взглянул вверх, туда, где долина плавно переходила в холм, и увидел в его расщелине два фаэтона.

Он разлил по стопкам последнюю водку.

— И в этот последний раз — последний тост за тебя, Мкртич...

Выпил свою стопку, собрал все остальные и бросил в Ахурян.

Фаэтоны подъехали. Музыканты сели в фаэтон. Они играли печальную, самую печальную мелодию...

Аветик поднялся во второй фаэтон, встал во весь рост и крикнул:

— Трогай! Поеду через свой последний мост...

* * *

Вдоволь накупавшись, возвращались домой с реки смуглые ребяташки. С испугом и жалостью на лицах они молча провожали глазами пожилого человека, босого, без шапки, который, пошатываясь, делал несколько неверных шагов, потом останавливался, хватался за голову и иступленно выкрикивал:

— Горе мне! На что моя жизнь ушла?!

1933 — 1935. Ереван.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Мкртич Армен (1906 — 1972) прожил долгую и очень нелегкую жизнь, много писал (и не только прозу), много переводил (Чехова, Горького, Шолохова, Олешу, Каверина и других русских писателей), однако в памяти широкого круга читателей остался автором одной книги — повести «Родник Эгнар», написанной еще в молодые годы.

«Родник Эгнар» пользуется в Армении поистине всенародной популярностью: нет человека, который не знал бы и не любил эту небольшую повесть, подчеркнуто-сдержанную и этнографически-многоцветную, реалистически достоверную и афористически-иносказательную одновременно. И в этом смысле псевдоним **Армен**, который избрал себе когда-то молодой писатель Мкртич Аликан, оказался пророческим.

На русский язык повесть переводилась дважды: в 1936 году вышла в переводе выдающегося деятеля армянской культуры П. Макинцяна, а в 1959 году — в переводе самого Мкртича Армена. Известно, что век перевода недолог: меняются взгляды на его цели и задачи, меняются сами критерии точности и верности, меняется адресат перевода — читатель. В тридцатые годы переводы с армянского чаще всего выполняли ознакомительную функцию и слишком скрупулезно следовали букве подлинника, нередко в ущерб его духу, интонации, национальному своеобразию. Что касается автоперевода Мкртича Армена, то он интересен с точки зрения психологии творчества и психологии двуязычия, но с художественной точки зрения тоже уступает оригиналу: писатели обычно хотят, чтобы их переводили даже не слово в слово, а буква в букву, дабы сохранить в переводе все, что так выстрадано в оригинале. Но два слова в двух языках почти никогда не совпадают до конца, во всей полноте своих оттенков и полутонов, своего эмоционального и ассоциативного ореола, и нередко, чтобы приблизиться к подлиннику, надо сначала отступить от него.

Считается, что поверять гармонию алгеброй не следует. К переводчику это, пожалуй, не относится. Плохо, если переводчик не чувствует гармонии оригинала. Но вряд ли лучше, если он не задумывается, в чем «алгебра» этой гармонии — ведь ему надо воссоздать произведение в другом материале, и исполнительский характер этого творчества требует внимательного и скрупулезного постижения структуры и системы оригинала, на основе чего и складывается переводческая концепция.

«Родник Эгнар» — прекрасное, волнующее повествование о любви — трагической, высокой и тоже прекрасной. Поистине «сильна, словно смерть, любовь». Библейская «Песнь песней», как и армянская любовная лирика, не раз вспоминаются, когда читаешь повесть Армена. Как скорбно-торжественный реквием погибшей любви звучит эпилог: в нем природа усыпает могилу Эгнар цветами. А рядом, сливаясь, но не перекрывая его, звучит, в словах и делах мастера Аветика, гимн дружбе и труду; он, опоясывает, словно кольцевая рифма, музыкальную и тематическую структуры повести и возвращает нас к прологу, где так же скорбно и торжественно прозвучало прощание с жизнью мастера Мкртича, освещенное верой в магическую силу человеческого труда, способного, протянувшись серебряной дугой между прошлым и грядущим, словно вода в роднике, помочь смертному победить саму смерть.

Повесть Армена печальна, даже трагична, но печаль его светла. Еще древние греки создали и передали нам учение о **катарсисе**, то есть очищении через страдание, через сострадание. В этом светлом, возвышающем душу страдании нет унижающей человека жалости. Есть восхищение силой человеческого духа.

Да, мастер Мкртич искренне и свято верил в бога и в божьи установления. Но он же и не подчинился божьей воле, когда она «выбрала» ему в жены не ту единственную, которую выбрал он сам, он же осмелился встать вровень с богом и карать подобно ему и вместо него. И он уходит из жизни достойно, не склонив головы, ибо жизнь его была полна труда, нужного людям. Может быть,

этим он искупил и свою великую вину перед Любовью. Уходит непобежденным и его друг, мастер Аветик, который все-таки решился и построил свой последний, двенадцатый мост, ведущий в небытие его самого, но нужный людям. И только Варос, который не пожалел целой жизни, чтобы вымолить у бога прощение себе и Эгнар, но, моля небеса о милости, ничего не сделал для людей на земле — только он на склоне лет сражен трагическим прозрением: жизнь прожита впустую, и потому он как бы и не жил на свете.

В повести два реквиема: мастеру в прологе (лейтмотив здесь Труд и Дружба) и его жене в эпилоге (Красота и Любовь). В конце повествования обе музыкальные темы сливаются, и их торжественное хоральное звучание вдруг обрывается, вместе с повестью, на рыдающей, пронзительно-трагической ноте. «На что моя жизнь ушла?!» — иступленно вопрошает Варос, и нет у нас для него утешения.

Многое удалось сказать Армену в такой небольшой по объему вещи, а ведь она вовсе не оставляет впечатления перенасыщенной, утяжеленной, напротив, легка, естественна и, казалось бы, безыскусна. Причина кроется, прежде всего, в абсолютном слухе автора, в безупречном чувстве «соразмерности и сообразности» как в рамках любого элемента, так и в архитектонике их сложной иерархии в целом. Поистине, перед нами «золотое сечение».

Прежде всего, мощным средством выразительности становится **ритм**.

Это, например, повторяющаяся символика «магических» чисел, с их собственным внутренним ритмом, иногда явная, как в перечислении родников мастера Мкртича (7, 12, 33, 40), как в 12 мостах мастера Аветика; иногда чуть завуалированная (Эгнар пришла к роднику третьей, стала женой мастера через три года и т.п.). Это троекратный зачин в прологе; это пролог, который затем эхом отзовется в эпилоге; это повторяющиеся сцены (например, поминальное застолье) и повторяющиеся словесные блоки в этих повторяющихся сценах. Это сказовая манера повествования, с ее сложным ритмическим рисунком, с плавностью длинных периодов, с нарастанием напряжения при видимом совпадении словесного наполнения, это певучие пеоны, это внезапная перебивка ритмов, создающая «эффект обманутого ожидания».

Это песенные мелодика и словарь. Так, вся любовная сцена между Варосом и Эгнар в доме Хабибы инструментована на скрытых цитатах из народных песен. Пришлось чуть-чуть сгустить напевность этих фраз, их синтаксический параллелизм, чтобы ритмом и интонацией возместить для русского читателя неузнаваемость песенных слов и устойчивых оборотов. Очень четок ритмический рисунок текста при передаче легенд, которые на закате рассказывают ребятишкам женщины-гюмрийки.

Это повторение, нагнетание близких по звучанию слов; это аллитерации и ассонансы.

И чем меньше места уделено словесной характеристике, тем большая нагрузка падает на форму. Например, о царской администрации, управляющей Александрополем, то есть Гюмри, сказано с прямой авторской оценкой всего несколько слов: «В городе заправляли царские чиновники, но им так никогда и не удалось проникнуть в глубины его жизни, так и не удалось окрасить ее в свой цвет — серый». Но в трех решающих эпизодах повести (заметим, что и сами они повторяются в тексте через равные промежутки) трижды появляются представители власти и трижды демонстрируют свою бестолковость и чужеродность (к тому же еще и казенным языком, тоже чужеродным языковой фактуре повести):

Умер Еранос: «Утром Ераноса нашли на огородах. Он лежал на тахте с ножом в сердце. Судебные и медицинские чиновники занесли этот случай в протокол как самоубийство по невыясненным причинам».

Умерла Эгнар: «Явились судебные и медицинские чиновники и занесли этот случай в протокол как скоропостижную смерть по невыясненным причинам».

Произошло чудо с родником: «Явились судебные и медицинские чиновники: увидели совершенно безводный родник и занесли этот случай в протокол как обман зрения по невыясненным причинам».

Своеобразно инструментованы и образы повести. Так, Эгнар почти все время сопровождает негромкое журчание воды, и рядом мы всегда видим цветы — то как бы ее музыкальный и зрительный образ. Это надо помнить, например, когда подбираешь слова, описывая садик, по которому проходит мастер Мкртич в дом Хабибы. Это наша последняя встреча с Эгнар и прямо-таки

необходимо подчеркнуть прелесть расцветшего, безмятежного садика и в его сходстве с красотой Эгнар, и в трагическом противоречии с ее смятенным духом.

Смерть Эгнар мгновении и легка: «Послышался только негромкий вздох, а может, стон, похожий на всплеск прозрачной воды в ручейке, и Эгнар смолкла. Все было кончено». Она словно бы и не умерла, а ушла в другой мир, как уходит, утекает ручеек. Образ текущей воды как символ вечности проходит через всю повесть. Символика эта не случайна. Она характерна для армянской поэзии. Она нередко присутствует, например, в стихах Аветика Исаакяна, великого земляка Армена, которому он посвятил свою повесть. Вот один пример:

*Старый друг, родник,
Прежде каждый миг
В твой живой кристалл
Песни я вплетал.*

*А теперь устал,
Молчаливым стал...
Твой же легкий звон
Мчится в даль времен¹.*

Разумеется, переводчику повести надо по возможности передать звучание бегущей воды. Но этого мало. Читатель, может быть, и не заметил (но почувствовал, пусть подсознательно!), что несколькими страницами раньше, в поразительно пластичной, осязаемой картине безмятежного летнего полдня, это сравнение уже встречалось, только как бы в обратном отражении: «...меж деревьев струится в ручейке прозрачная вода, течет быстро, но совершенно бесшумно, и только иногда, набежав по пути на камень, всплескивает негромко, словно девушка-купальщица, которая вошла в воду и тихонько вскрикнула, ощутив ее холод». Но переводчик обязан заметить и повторить, сохранить этот переплеск и этот повтор. В оригинале стоит слово, буквально означающее «канавка», но в поэтичной пейзажной зарисовке это слово было неуместно. Разумеется, речь здесь идет об **оросительной канавке**, и при описании полдня на огородах она была бы вполне уместна, однако никак не годилась применительно к Эгнар. Пришлось заменить ее **ручейком** и в первом случае, только для того, чтобы не разрушать параллелизма в зеркальном отражении повтора. Перед смертью Эгнар негромко вскрикнула /по-армянски «тцклтац»/. Это многозначное слово употребляется как звукоподражание человеческому вскрику, всплеску воды и крику птицы. В русском языке такой синкретичный глагол подобрать, пожалуй, нельзя, и, памятуя об инструментровке, ориентированной на плеск воды, из нескольких возможных вариантов предпочтение было отдано тому, который усиливает звукопись: «негромкий вздох, а **может, стон**».

Все эти моменты в повести важны не только с сугубо изобразительной точки зрения, но еще и потому, что именно благодаря им реалистически выписанные персонажи окутывает романтическая дымка, и это создает в повести второй план, обобщенную, иносказательную, легендарно-притчевую тональность.

Как видим, и содержание, и композиционные элементы формы, в известном смысле вся архитектура произведения — все это вовлекается в сферу работы переводчика, хотя и опосредованно.

Но главное поле деятельности переводчика — собственно язык произведения.

И в этом повесть сугубо и насыщенно национальна. Ее герои говорят между собой на ширакском диалекте, чрезвычайно ярком и колоритном, и он в своей народной первозданности, то грубовато-меткой, то фольклорно-напевной, оттеняет безупречную изысканную гибкость литературного армянского языка, которым говорит сам автор, а его речь, в свою очередь, оттеняет выразительность народной ширакской речи. Эти переходы и переливы авторской речи, внутренних монологов и речи персонажей сами звучат как своеобразная мелодия. Передать такой художественный прием на другом языке невозможно: диалекты русского языка здесь, увы, не подспорье. Происходит определенная утечка эстетической информации. Переводчику остается лишь сделать ее как можно меньше: использовать во всей его мощи и разнообразии богатейший фонд русского общенародного просторечия и тем самым сохранить указание и на социальное положение героев и на

¹ Перевод В. Звягинцевой

разницу между их речью и авторской. Кое-где автор повести даже сам переводит отдельные слова с диалекта на общеармянский. Конечно, хотелось сохранить и эту особенность оригинала, например; «лопухи, которые здесь называются «бесова плюха», то есть «пощечина сатаны». Однако в армянском тексте дистанция между элементами такого внутриязыкового перевода, пожалуй, чуть побольше.

Проблема национальной специфики оригинала, конечно, не сводится к передаче диалекта. В повести причудливо и удивительно гармонично сливаются приметы сугубо локальные, связанные непосредственно с таким резко своеобразным, неповторимым городом, как Гюмри, элементы общеармянского и, наконец, общевосточного колорита. Опять таки, сохранить **все** такие элементы оригинала невозможно; и задача переводчика — свести потери к минимуму, передать атмосферу, дух национальной среды, не поступаясь при этом ни понятностью текста, ни его художественной целостностью. Так, в тексте есть своего рода слова-сигналы, слова-символы (начиная с **родника**, к счастью достаточно раскрытого в своей национальной специфике в самом тексте повести), которые сразу включают в сознании читателя оригинала целый комплекс чувств, ассоциаций, запахов и красок. И первое такое слово-образ встречается нас в первых же строках — в троекратно повторенном, звучащем как рефрен зачине пролога. Если зачин перевести с армянского слово в слово, как это сделал в автопереводе сам Армен, фраза выглядит так: «В одном из старых кварталов Лениакана — в Дзори Богазе, который с полным правом мог бы еще носить название Гюмри, в своем маленьком домике умирал знаменитый мастер по проведению родников — уста Мкртич». Беру на себя смелость утверждать, что русский читатель получает здесь гораздо меньше информации, чем армянский: стоит сказать армянину **Гюмри** — и перед ним сразу же во всей своей осязаемой вещественности встает целый мир, красочный, неповторимо-своеобразный, со своим укладом, обычаями, обрядами, одеждой. У каждого народа есть такие слова, как бы аккумулирующие в себе колоссальный объем понятий, чувств и образов. Так, для русского **Петербург**, **Петроград** и **Ленинград** — не просто разные названия одного города в разное время, но и олицетворение различных этапов русской истории в ее зримо-образном воплощении. Так, **Тифлис** вызывает у всех жителей Закавказья совсем иные ассоциации, чем **Тбилиси**, а **Ереван** не просто современный аналог **Эривани**. И Армен вовсе не случайно выбрал старинное название **Гюмри**, хотя во времена, когда начиналась история его героев, нынешний Лениакан назывался Александрополем.

Русский читатель ничего этого в слове **Гюмри** не видит, тем более не чувствует. И попытаться хотя бы намекнуть, что значит в первой фразе повести пароль «Гюмри», думается, все-таки следовало. Это потребовало некоторого отступления от буквы подлинника: «В Дзори Богазе, старом квартале Лениакана, еще сохранившем все своеобразие облика и уклада старинного Гюмри, умирал в своем домике знаменитый строитель родников мастер Мкртич».

Или еще один пример — знаменитый тост Ераноса: «...насколько хватает моего разума, я так думаю, что мужчина — столб семьи, а женщина — кровля (в оригинале — **ердик**. — Н. Х.). Столб должен держать на своей голове кровлю, кровля же должна препятствовать не только тому, чтобы дождь проникал внутрь, но и тому, чтобы в дом заглядывал чужой глаз» (перевод М. Армена). Обратимся к реалийно-фоновой стороне проблемы. Сейчас даже не каждый читатель оригинала отчетливо представляет себе старинное армянское жилище с **столбом** посередине, поддерживающим кровлю, и **ердиком** — небольшим круглым отверстием в плоской кровле, совмещавшим функции дымового и слухового окошка. У русского читателя сравнение человека со столбом вызывает совсем другие ассоциации, скорее комические, что резко противоречит общей тональности эпизода. Разумеется, можно объяснить и **столб** и **ердик** в примечаниях, но не случайно никто из переводчиков на это не пошел: в одном из самых напряженных, драматических мест повести сноска отвлекла бы внимание читателя, разрушила единство восприятия. Здесь переводчика подстерегает и чисто языковая ловушка: армянский устойчивый оборот «գլխի վրա փառել» буквально означает «держат на голове», что формально практически совпадает с русским «сажать на голову», однако совпадение это мнимое — армянский фразеологизм означает «окружить любовью, вниманием, холить, лелеять». Истинным эквивалентом здесь оказывается внешне как будто более далекий оборот «носить на руках». А всю фразу, может быть, стоило перевести так: «Но я своим немудреным умом так понимаю: мужчина — опора дома, его стены, а женщина — кровля. Стены должны носить кровлю на руках, а ее долг — чтобы не только дождь очаг не заливал, но и никто чужой не загляды-

вал». Конечно, при таком переводе пропадает один из дополнительных оттенков сравнения, образно-эротический. В традиционной армянской любовной лирике со времен Кучака безоглядность и необоримость чувства не мешала ему быть вполне земным, чуждым ханжеского платонизма, и эта традиция особенно устойчиво держалась как раз в фольклоре армянских ремесленников. Однако у русского читателя иной эстетический опыт, и если бы даже удалось сохранить этот, по большому счету весьма второстепенный в контексте всего эпизода нюанс, читатель скорее всего истолковал бы его психологически, этически и эстетически превратно.

Еще один пример, уже на общевосточном материале: у смертного одра мастера Мкртича его друзья-мастера дважды вспоминают устойчивую формулу ухода из жизни, принятую на Востоке. Вот она в дословном переводе Армена:

«Стало быть, ты слег, брат Мкртич... Эх, мы тоже вот-вот услышим урчание верблюда. Идет он и завтра опустится на колени у наших дверей».

«Кто знает, может, тебе и в самом деле придется сесть на верблюда, опустившегося на колени у твоих ворот, и поехать с вечным караваном».

Армянскому читателю и без объяснения ясно, что верблюда посылает Смерть и что на колени он опускается, чтобы на него можно было сесть. Во второй цитате эта образность достаточно прозрачна, чтобы и русский читатель мог, в общем, догадаться, о чем идет речь. Конечно, можно и вернуться назад, заново перечитать теперь уже ставшие более понятными строки. Но надо ли? И не отвлечет ли это от главного — от этического и эстетического сопереживания? Вероятно, все-таки, целесообразнее ненавязчиво пояснить ситуацию прямо в тексте. Это не насилие над оригиналом, ибо там все «привнесенное», безусловно, присутствует, только не выражено словами. Таких разъяснений, по-видимому, нужно два: что верблюда посылает Смерть и что перед нами традиционная формула, а не словотворчество персонажей. С другой стороны, представляется несущественной и даже уводящей в сторону, деталь, что верблюд опускается на колени (по-русски это, думается, может вызвать другие, неадекватные ассоциации). Нам показалось достаточным упомянуть о **колокольчике**, как звуковом и символическом сигнале, понятном всем (вместо звукоподражания голосу верблюда в оригинале):

«Что ж, мы тоже вот-вот услышим колокольчик верблюда, которого, говорят, Смерть посылает. Не сегодня-завтра и у наших дверей остановится».

«А ты... как знать, может, и впрямь настал твой черед сесть на верблюда Смерти и влиться в караван вечности, как исстари говорится...»

В этих заметках уже не раз упоминалось о музыкальности и ритмической организованности повести Мкртича Армена. Стоит отметить, что и само построение повести и принципы развития и разрешения ее конфликта во многом напоминают симфонические: как и в классической симфонии, в повести четыре части (главы), в которых, переплетаясь с другими темами повести, звучит тема любви в жизни четырех главных героев. Пролог и эпилог обрамляют этот четырехчастный цикл, задавая ему нужную тональность, и, перекликаясь между собой, придают произведению не только тематическую, но и ритмико-интонационную завершенность и драматургическую целостность. В совокупности они как бы выполняют задачу, отводимую в симфонии сонатной форме, которую Ромен Роллан не случайно сравнивал с классической трагедией. Неуклонно нарастающее напряжение разрешается кодой, каковой с полным основанием можно считать заключительные слова Вароса. В одном предложении сосредоточен, таким образом, огромный содержательный, эстетический и нравственный заряд — не случайно она стала в Армении крылатой. Формально ее можно перевести как «Почему моя жизнь прошла?!», или «Зачем моя жизнь прошла?!» с предшествующим междометием-восклицанием, выражающим здесь трагическое удивление. Однако не только содержание повести, но и само ее построение, когда все главное, что хотел сказать автор, сконцентрировано в одной последней фразе, заставляет обратить на нее особое внимание. И здесь хочется сказать об одной, на мой взгляд, вполне реальной закономерности: когда фраза вошла в живую речь народа, переводчик, даже сознавая, что в переводе этого все равно не произойдет, все-таки имеет право (а может быть, и обязан) усилить, подчеркнуть, даже порою вынести из подтекста в текст то, что сделало фразу крылатой. Зажившая самостоятельной жизнью, она как бы оказывает обратное действие на себя самое у своих истоков, заряжает сама себя энергией. С учетом всего сказанного наилучшим выходом показалось заменить междометие (любое из вроде бы подходящих к случаю **эх, ах, о, увы** и т.д. по разным причинам не подходит, а совсем опустить междометие не позволяет

ритм фразы) более емким восклицанием «Горе мне!», четче выявить подтекст и кончить повесть словами «Горе мне! На что моя жизнь ушла?!».

* * *

Повести Мкртича Армена скоро исполнится полвека. Но время не только не состарило ее, а скорее даже высветлило глубину и благородство ее нравственных заветов и гармоническую прелесть ее формы. Сегодня, когда жизненный уклад, так тщательно и любовно выписанный Арменом, ушел в прошлое, повесть, навсегда запечатлевшая старый Гюмри, приобрела и дополнительную ценность художественного документа.

Мастер Мкртич Армен, как и его герой и тезка мастер Мкртич, отдал людям все, что мог, — и они его не забудут.

НЕЛЛИ ХАЧАТУРЯН

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Александра Пистунова. Пир Мкртича Армена</i>	3
Пролог	11
Глава первая	35
Глава вторая	51
Глава третья	77
Глава четвертая	98
Эпилог	118
<i>Послесловие переводчика. — Нелли Хачатурян</i>	127

МКРТИՉ ԱՐՄԵՆ

Родник Эгнар

Повесть

ՄԿՐՏԻՉ ԱՐՄԵՆ

Հեղինար աղբյուր

Վիպակ

«Սովետական գրող» հրատարակչություն

Երևան, 1984

Редактор **Р. О. Джагетян**, худ. редактор **В. А. Арутюнян**, художник **А. И. Яралян**, техн. редактор **А. Ц. Ковкасян**, контрольные корректоры **С. А. Арутюнян**, **И. Г. Егиазарова**.

ИБ №4455

Сдано в набор 4.04.83. Подписано к печати 16.04.84. Формат 84 × 108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. 7,14 усл.-печ. л., 7,44 усл. кр. отт., 7,1 уч.-изд. л. Тираж 50000. Заказ 1133. Цена 45 коп.

Издательство «Советакан грох». Ереван — 9, ул. Теряна, 91.

Типография цветной печати Госкомитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Арм. ССР. Ереван — 82. Эчмиадзинское шоссе, 48.

Сканирование, OCR — Айвазьян Владимир

45 к.



«СОВЕТАКАН ГРОХ»